

ЛУ СИНЬ

ИЗБРАННОЕ





ЛУ СИНЬ

Портрет работы художника
А. Яр-Кравченко



ЛУ СИНЬ

ИЗБРАННОЕ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1952 г.

Вступительная статья
Н. ФЕДОРЕНКО

Переводы с китайского
под редакцией Вл. РОГОВА



ЛУ СИНЬ

«В скором будущем ныне еще окруженный высокой стеной китайский народ очнется, вырвется на свободу и заговорит во весь голос...»

Лу Синь, 1927 г.

Великий китайский народ, руководимый славной коммунистической партией, навсегда сбросил оковы феодального и империалистического рабства и строит новую жизнь, свободную и радостную.

В исторической борьбе китайского народа за национальное раскрепощение и свободу революционной литературе Китая принадлежит видная и почетная роль. Она помогала китайскому народу, вдохновляя его в тяжелой борьбе, содействуя его успехам и победам.

Основоположник новой китайской литературы, Лу Синь изучал многовековую историю и культуру своей родины, хранил и продолжал прогрессивные традиции великих и бессмертных писателей Китая. Это помогло Лу Синю заложить прочные основы современного революционного искусства Китая и наметить верный путь его развития.

Родился Лу Синь в 1881 году в небольшом уездном городе Шаосине, провинции Чжэцзян, в семье, носившей фамилию Чжоу. Отец писателя был ученым, а мать происходила из простой деревенской семьи по фамилии Лу. Настоящая фамилия и имя писателя — Чжоу Шу-жэнь. Лу Синь — литературный псевдоним, в основу которого положен фамильный знак матери — Лу; знак Синь является именным. Этим псевдонимом писатель начал пользоваться в 1918 году, когда был напечатан его первый рассказ «Записки сумасшедшего». Цензорский надзор и политические преследования заставляли

Лу Синя скрываться под различными вымышленными именами, которые он часто менял и которых у него насчитывалось несколько десятков.

В годы раннего детства писателя его отец владел участком земли в 30—40 му (около 2 гектаров), которых, по признанию Лу Синя, было достаточно для безбедного существования всей семьи Чжоу. Но когда мальчику минуло тринадцать лет, в семье случилось несчастье, заставившее его уйти из дому и поселиться у родственника. Унижения, которые ему пришлось здесь испытать, заставили Лу Синя вернуться домой. Не прошло и трех лет, как умер отец, и мать, желая дать сыну образование, собрала на дорогу немного денег и отправила его искать бесплатную школу.

Вспоминая свое детство, Лу Синь в предисловии к сборнику «Клич»[1] пишет: «Четыре с лишним года мне приходилось почти ежедневно бывать в ломбарде и аптеке. Не помню, сколько мне было лет, — прилавок аптеки был мне до головы, а прилавок ломбарда был в два раза выше меня. Я передавал через этот высокий прилавок одежду или драгоценности и, осыпаемый насмешками и оскорблениями, брал деньги, шел в аптеку и покупал лекарства для моего больного отца. Врач, лечивший отца, был большой знаменитостью и поэтому выписывал рецепты на особенно диковинные лекарства: зимние корни камыша, сахарный тростник, который непременно должен был простоять три зимы в поле, пару сверчков — непременно самца и самку, растение «пиндиму» с плодами. Доставать все это мне было нелегко, и все-таки моему отцу становилось все хуже, и наконец он умер».

Восемнадцати лет Лу Синь поступил в Морское училище в городе Нанкине, но через полгода он оставил это училище и начал заниматься в школе горных и железнодорожных инженеров. Затем после окончания этой школы Лу Синь был направлен в Японию для продолжения образования. Однако в Японии он отказался от усовершенствования в области технических наук и начал изучать медицину.

«Мои мечты, — пишет Лу Синь об этом периоде своей жизни, — были прекрасны: я решил после окончания медицинского института вернуться на родину, чтобы спасать таких больных людей, как мой отец, который больше страдал от невежественного лечения, чем от самой болезни, а в случае войны служить военным врачом, чтобы облегчать страдания раненых, и еще я мечтал убедить своих соотечественников в пользе реформ...»[2]

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. I, стр. 269, изд. Фушэ, 1938.
[2] Там же, стр. 270.

В медицинском колледже писатель пробыл лишь два года. Все больше и больше в нем укреплялась мысль, что смертность от болезней — не самое страшное зло для Китая. Отсталый и темный народ нуждался прежде всего в развитии национального сознания. Лу Синь пришел к убеждению, что литература может помочь развитию самосознания китайского народа, и решил посвятить свою жизнь литературной деятельности.

«Поэтому первым важным делом для нас должно быть духовное изменение людей, а добиться этого, по моему разумению, в то время можно было при помощи литературы и искусства. Поэтому я и стал думать о развитии литературного движения» [1].

Начало литературной деятельности Лу Синя относится к 1903 году: он пишет статьи для журнала «Чжэцзянский прилив», переводит роман «Полет на луну» Жюль Верна и др. В последующие годы Лу Синь усиленно занимается изучением китайской литературы под руководством известного знатока китайской классики Чжан Тайяня, переводами и редактированием. В 1909 году Лу Синь издает два сборника «Иностранных рассказов», в которые вошли и переводы произведений русских авторов.

В 1909—1918 годах писатель занимается педагогической деятельностью, продолжает изучать историю литературы и культуры своей родины.

Первые художественные произведения Лу Синь создает в 1907 году, когда он учился в Японии. Это был канун так называемой синхайской революции в Китае (1911), период кульминационного подъема революционного движения, руководимого китайской буржуазией. Вначале Лу Синь приветствовал эту революцию, видя в ней возможность изменения феодально-патриархальных порядков Китая. Однако вскоре, когда Лу Синь вернулся на родину, писатель понял, что эта революция не оправдала его ожиданий.

«Существо, — писал тогда Лу Синь, — осталось прежним, так как военное правительство было создано все теми же несколькими старыми чиновниками» [2].

Первые годы так называемой Китайской республики, провозглашенной в 1911 году, не отмечены сколько-нибудь активной литературной и публицистической деятельностью Лу Синя.

Подлинный расцвет творчества Лу Синя начинается накануне крупнейшего в истории Китая антифеодального и антиимпериалистического — в первую очередь антияпонского движения — «Движения

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. I, стр. 271, изд. Фушэ, 1938.
[2] Там же, т. II, стр. 271.

4 мая» 1919 года. Это движение, начало которому было положено студенческой демонстрацией, явилось водоразделом в истории культурного развития Китая.

В своей работе «О новой демократии» Мао Цзэ-дун указывает, что следует различать два исторических периода: до «Движения 4 мая» борьба на культурном фронте Китая велась между культурой буржуазии и культурой феодальных классов. «Движение 4 мая» ознаменовало собой включение подлинно демократических сил Китая в борьбу с буржуазной и феодальной культурой.

«...Культурная революция, начатая «Движением 4 мая», была направлена полностью против феодальной культуры. За всю историю Китая в нем еще не было такой великой и последовательной культурной революции» [1].

Это движение стало возможным благодаря выходу на арену общественной жизни новой политической силы — китайского пролетариата.

Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала к жизни дремавшие силы широких народных масс Востока и открыла новую страницу в истории их жизни и культуры. Идеи Ленина и Сталина одухотворили литературу и искусство Китая нового времени.

«Движение 4 мая», — пишет Мао Цзэ-дун, — родилось в ответ на призыв мировой революции, призыв русской революции, призыв Ленина» [2].

Раньше Лу Синь видел разложение старого общества и мечтал о «новом» обществе, но не знал, пишет он, «каким должно быть это «новое», как не знал, станет ли хорошо после наступления «нового». Только после Октябрьской революции я узнал, что творцом нового общества является пролетариат...» [3]

Творческий путь писателя отражает постепенное его приближение к идеям социальной революции. В ранние годы писатель, исходя из законов естественных наук, верил, что путем последовательного изменения вещей и явлений удастся разрушить строй эксплоатации человека человеком. В последующие годы Лу Синь понял, какой именно социальный класс должен погибнуть вместе с силами реакции и какому классу принадлежит будущее.

---

[1] Мао Цзэ-дун, О новой демократии, Избранные произведения, стр. 266, изд. «Дунбэй шудянь», 1948.

[2] Там же.

[3] Лу Синь, полн. собр. соч., т. V, стр. 25, изд. Фушэ, 1938.

Лу Синем был пройден путь от либерала, боровшегося за «освобождение личности», через демократические принципы к социалистическому мировоззрению, к глубокому убеждению, что «будущее принадлежит лишь возрождающемуся пролетариату»[1]. В этом развитии Лу Синя отразилось движение китайского народа и социальные сдвиги в китайском обществе первой половины двадцатого столетия.

Лу Синь начинал свою сознательную жизнь на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий, когда Китай представлял собой полуфеодальное и полуколониальное государство, национальные интересы которого грубо и жестоко попирались чужестранными империалистическими хищниками. Это было время народных волнений и революционных событий, оказавших большое влияние на дальнейшую судьбу многомиллионного и многострадального китайского народа. Китаю приходилось одновременно вести тяжелую и неравную борьбу против объединенных сил международной агрессии и внутренней феодально-милитаристской реакции, поддерживавшей режим средневекового варварства и угнетения народа.

Своеобразие социально-экономических отношений в Китае состояло в том, что господство феодальных пережитков переплеталось с существованием купеческого капитала в китайской деревне при сохранении феодально-средневековых методов эксплоатации и угнетения крестьянских масс. Окружающая действительность, личный опыт подсказывали Лу Синю необходимость решительной борьбы против традиционных оков феодальной культуры, тормозивших развитие китайского общества.

Уже в период «Движения 4 мая», выступая с позиций революционной интеллигенции, Лу Синь в своих художественных произведениях и публицистических работах показал себя последовательным борцом, не знающим пощады к врагу. Дальнейшие годы подтвердили непримиримость проводившейся им борьбы против феодальных традиций, как подтвердили и правильность избранного писателем пути. Лу Синь понял великую освободительную роль пролетариата и решительно пришел в лагерь революции.

В высшей степени знаменательный путь Лу Синя лежал через революцию 1925—1927 годов в Китае, через последовавшую за этой революцией десятилетнюю гражданскую войну в стране. Сама жизнь и острая борьба социальных сил способствовали формированию его мировоззрения, помогали сложиться революционным литературным и эстетическим убеждениям писателя.

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. IV, стр. 198, изд. Фушэ, 1938.

«Жить в классовом обществе, — писал Лу Синь, — и пытаться стать надклассовым писателем; жить в эпоху борьбы и стремиться оторваться от борьбы и стать независимым; жить в настоящем, а писать для будущего — это доступно не человеку, а только призраку, созданному воображением. Ведь это подобно попытке поднять самого себя за волосы» [1].

Лу Синь принес с собой в китайскую литературу новый мир идей и образов. Яркая социальная окрашенность художественного творчества, политическая направленность публицистических статей Лу Синя, критическое отношение к окружающей его действительности, искреннее сочувствие судьбам закрепощенных — все это свидетельствует о глубокой связи писателя с народом, о принципиально новом отношении к жизни, и это коренным образом отличает Лу Синя от всех его предшественников.

Огромная заслуга Лу Синя состоит в том, что он не только сам боролся против феодально-помещичьих сил и гоминдановского абсолютизма, но и неустанно призывал свой народ к решительному свержению этого тюремного режима. Близость Лу Синя к движению народных масс Китая обусловила разоблачительную силу его реализма, ставшего боевым оружием писателя. Лу Синь завершил старую эпоху китайской литературы и начал эпоху реалистического искусства. Он является его родоначальником и первым классиком. В своих реалистических произведениях Лу Синь выступил против литературы классических начетчиков, главными темами которых были абстракции, мечтания, заоблачные мистерии. К периоду появления новой китайской литературы, связавшей свою судьбу с борьбой против феодально-помещичьего и империалистического произвола в Китае, относится возникновение и развитие нового реализма в творчестве революционных писателей — Лу Синя, Мао Дуня, Дин Лин, Го Мо-жо и других.

Лу Синь ясно видел вопиющую несправедливость полуколониального и полуфеодального строя в Китае, при котором уделом огромного большинства являлись нищета и отчаянная борьба за существование, а ничтожной кучке людей принадлежали неограниченные права на все блага и наслаждение материальной и духовной жизнью.

«Я хотел, — подчеркивает Лу Синь, — рассказать о болезнях и горе несчастных людей больного общества и привлечь к ним внима-

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. V, стр. 36, изд. Фушэ, 1938.

ние, чтобы их излечить... Мне хотелось бы силою своих рассказов перестроить общество»[1].

Литературное наследство Лу Синя составляет двадцать томов художественных произведений, публицистики, критики, исследований, переводов иностранных авторов.

Среди повестей и рассказов, создавших писателю литературную славу и получивших всеобщее признание не только в Китае, но и далеко за его пределами, сборники «Клич», «Блуждания», «Дикие травы», «Южные мелодии и северные напевы», «Кружевная литература», «Горячий ветер», «Могильный курган», «Разрешенный разговор о ветре и луне», «Хуа-гай», «Три бездельника» и многие другие. В сборниках содержатся повести, рассказы, статьи и фельетоны, написанные автором за период с 1918 по 1936 год. И во всех этих произведениях Лу Синь неизменно выступал как пламенный патриот своей многострадальной родины, как выразитель общественной совести китайского народа.

Великая заслуга Лу Синя состоит в том, что он сблизил литературу с действительностью, с жизнью, с народом, сделал ее разящим старый мир оружием, поставил ее на службу современности; как большой художник, он хорошо понимал, что его задача — борьба и завоевание настоящего, без которого не может быть будущего.

«Но бороться за настоящее, — писал Лу Синь, — это значит действительно быть писателем, борющимся за настоящее и будущее, потому что потерять настоящее — значит не иметь и будущего»[2].

Сама жизнь требовала литературы реалистической, и ее начали создавать передовые писатели и поэты Китая, во главе которых стоял Лу Синь.

К этому времени многие произведения русских писателей были не только переведены на китайский язык, но и стали оказывать на литературную жизнь Китая весьма значительное влияние. Именно Лу Синь лучше, чем кто-либо, был знаком с произведениями русской демократической литературы, и это, естественно, не могло не найти отражения в его творчестве.

«Потом я прочел, — пишет Лу Синь, — рассказы иностранных писателей, в особенности русских, польских и малых балканских стран, из которых я узнал, что в мире есть очень много народов с такой же судьбой, как и у наших страдающих народных масс, и что у них есть писатели, которые во всеуслышание об этом говорят и борются за их интересы. Картины, которые я видел в нашей деревне, теперь

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. V, стр. 108, изд. Фушэ, 1938.
[2] Там же, т. VI, стр. 14.

встают в моем сознании еще ярче, чем прежде... И я стал показывать в форме коротких рассказов упадок так называемых общественных верхов и несчастное положение общественных низов»[1].

В повести «Правдивое жизнеописание А-Кью», являющейся самым крупным произведением писателя, Лу Синь показал процесс разорения деревни, пауперизацию крестьянства, голод и нищету, невыносимые условия эксплоатации и гнета, произвол и самоуправство чиновничества и местной знати.

Герой повести «Правдивое жизнеописание А-Кью» является типичным представителем старого китайского общества. А-Кью — крестьянин-батрак, униженный бесчеловечной эксплоатацией. Лу Синь сумел объяснить общественно-исторические причины, порождавшие трагическую судьбу людей, подобных А-Кью. Этот образ является огромной творческой удачей Лу Синя и свидетельствует о его большом реалистическом мастерстве.

Существует огромная критическая литература о Лу Сине, однако наиболее полная оценка деятельности писателя принадлежит Мао Цзэ-дуну.

«Мы вспоминаем Лу Синя не только потому, что он прекрасно писал и был великим писателем, — говорит Мао Цзэ-дун, — но и потому, что он принадлежит к авангарду движения за национальное освобождение и оказывал огромную помощь революции. Лу Синь организационно не принадлежал к коммунистической партии, но все мысли его, действия и творчество были по своему характеру марксистскими... Лу Синь вел решительную борьбу против феодальных и империалистических сил, последовательно и без колебаний.

...Лу Синь показывал феодальное общество в процессе крушения, он бичевал пороки общественной системы и угнетавшие людей силы империализма. Он рисовал эти темные силы разящим пером своей сатиры. Он был блестящим художником слова... В последние годы он вел борьбу за правду и свободу с позиций пролетариата и национального освобождения»[2].

Мао Цзэ-дун указывает на три характерных особенности Лу Синя и его творчества: во-первых, — политическая дальновидность, во-вторых, — боевая энергия, в-третьих, — дух жертвенности. «Его, — говорит Мао Цзэ-дун, — никогда не могли склонить ни угрозы, ни соблазны, ни жестокость врага. Он без малейшего колебания силу своего пера, острого, как стальной скальпель, обращал против всего,

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. VII, стр. 818—819, изд. Фушэ, 1938.

[2] Мао Цзэ-дун, Речь на собрании в Яньане, посвященном памяти Лу Синя, журнал «Циюэ», № 10.

что ему было ненавистно. Ему часто приходилось стоять среди крови бойцов и вести ожесточенную борьбу, призывая итти вперед!.. Мы должны овладеть боевым духом Лу Синя и понести его во все части национально-освободительных войск, чтобы он руководил ими в борьбе за освобождение китайского народа» [1].

О Лу Сине можно сказать, что среди всех современных ему писателей он наиболее глубоко и полно отразил свое время, свою эпоху, способствуя преобразованию и обновлению жизни китайского народа, мечтавшего о свободном и независимом существовании. Рисуя образы обездоленных и угнетенных людей, Лу Синь заставляет читателя серьезно задуматься над судьбами своей страны, своего народа. Он показывает, что источником социального неравенства является сама система государственного устройства Китая. Беспощадно правдивый реализм, жестокая критика общественной несправедливости в условиях китайской действительности — основные черты творчества Лу Синя.

Вот почему, характеризуя деятельность Лу Синя, Мао Цзэ-дун назвал его «Величайшим и отважнейшим знаменосцем новой культурной армии... Лу Синь был не только великим литератором, но и великим мыслителем и великим революционером... Именно Лу Синь был самым справедливым, самым отважным, самым твердым, самым преданным, самым пламенным, самым великим национальным героем, который от имени большинства народа начал штурм позиций врага на фронте культуры» [2].

В своем произведении «Записки сумасшедшего», считающемся первым творческим успехом писателя, Лу Синь открыто бросил вызов человеконенавистническому произволу, изобличил людоедские нравы феодально-патриархального строя, реакционную сущность конфуцианской морали.

В этом рассказе автор разоблачает феодально-патриархальные порядки, господствовавшие в Китае того периода.

Рассказом «Записки сумасшедшего» открывается новая страница в истории китайской литературы. Лу Синь стремительно и смело вторгся в литературную и общественно-политическую жизнь Китая. Впервые за многие столетия писатель, как равный с равным, заговорил со своим народом. Обуревавшие его мысли и чувства Лу Синь выражал не традиционным языком древних литературных канонов, непонятных народу, а живым полнокровным языком народных масс.

---

[1] Мао Цзэ-дун, Речь на собрании в Яньане, посвященном памяти Лу Синя, журнал «Циюэ», № 10.

[2] Мао Цзэ-дун, О новой демократии, Избранные произведения, стр. 264, изд. «Дунбэй шудянь», 1948.

«Записки сумасшедшего» — яркое свидетельство того, что существовало два Китая: один — задавленный вековой кабалой китайский народ, другой — феодально-помещичья аристократия и ее лакеи, ведущие яростную борьбу против всего нового, прогрессивного, против всего, что угрожает их привилегиям, их власти и богатству.

Вскоре после выхода в свет «Записок сумасшедшего» Лу Синем был написан один из его наиболее замечательных рассказов — «Кун И-цзи», включенный впоследствии в сборник коротких рассказов «Клич». В этом рассказе, названном по имени его главного персонажа Кун И-цзи, изображена жалкая участь представителя старой китайской интеллигенции, ставшего в условиях феодального произвола смешным и никому ненужным неудачником.

Китайские реакционеры и мракобесы, увидев в лице Лу Синя своего бесстрашного врага, повели против него беспощадную борьбу.

В течение двух с лишним десятилетий Лу Синь упорно и решительно боролся против старого мира. Злобное улюлюканье реакции преследовало писателя всю жизнь. Но ничто не сломило его.

«Я должен жить, — заявлял Лу Синь. — Если на свете останутся люди, которые хотят жить, то они должны уметь смело говорить, смело смеяться, плакать, ругаться и драться, чтобы в этом проклятом пространстве разбить проклятое время» [1].

Верность действительности, правдивость художественного изображения жизни оставались основой его творчества. Из таких произведений Лу Синя, как «Правдивое жизнеописание А-Кью», «Кун И-цзи», «Лекарство», «Маленькое происшествие» и др., читатель узнает о жизни и страданиях обыкновенных людей. Подкупающая непосредственность, простота, человечность, сочувствие угнетенным — таковы характерные черты реалистического творчества Лу Синя.

В сатирических произведениях Лу Синя — «Заметках», в сборниках рассказов — «Клич», «Дикие травы» и другие, проявляется его политическая непримиримость, глубокая ненависть к национальным и чужеземным угнетателям и поработителям.

Лу Синь стремился показать типические явления своего времени, создать живые портреты современников. Все его творчество, вся его деятельность были направлены на борьбу за счастливое будущее китайского народа.

В статье «Как я начал писать рассказы» Лу Синь говорит: «Я попрежнему, как и десять лет назад, считаю, что литература су-

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. III, стр. 108, изд. Фушэ, 1938.

ществует «для жизни» и для улучшения человеческой жизни. Я глубоко ненавижу как прежнее название рассказов — «праздное чтение», так и новое веяние — «искусство ради искусства», которое при внимательном рассмотрении оказывается все той же «праздностью» [1].

При чтении произведений Лу Синя — «Кун И-цзи», «Завтра», «Маленькое происшествие», «Волнение», «Родное село», «Правдивое жизнеописание А-Кью», «Деревенское представление» — бросается в глаза лаконизм и простота, уменье двумя-тремя штрихами охарактеризовать положение, наметить главные черты героя. С необыкновенной естественностью автор переходит от мелких бытовых зарисовок к большим идейным обобщениям. Примером может служить рассказ «Родное село», в котором автор раскрывает чувства и переживания человека, возвращающегося на родину, покинутую им двадцать лет назад. Лу Синь воспроизводит картины унылого и убогого деревенского пейзажа, делится воспоминаниями о далеком и беззаботном детстве. Писатель живо рисует быт своего села, его религиозные обряды и своеобразные обычаи. Рассказ о Жунь-ту, друге его детства, звучит так непосредственно, так искренне, что читатель невольно проникается сперва уважением к этому живому и сметливому крестьянскому мальчику, выросшему на берегу моря, а затем жалостью к взрослому Жунь-ту, забитому и измученному непосильным трудом. Но автор не хочет останавливаться на этом, он мечтает о такой жизни, которой еще не знал китайский народ, о жизни счастливой и свободной.

В небольшом рассказе «Маленькое происшествие» описывается поступок рикши, занимавшего самую низкую ступень социальной иерархической лестницы старого Китая. Случайно сбив проходящую женщину, рикша, против ожидания нанявшего его интеллигента, не только не скрывается от ответственности, но проявляет трогательную заботу о пострадавшей. «Это маленькое происшествие, — заключает автор, — так и стоит перед моими глазами и стыдит меня и заставляет меня быть лучше; оно укрепляет мое мужество и усиливает надежду».

В каждом из небольших рассказов Лу Синя оживает суровая и неумолимая правда страдающего под вековым гнетом народа. Вместе с автором читатель проникается справедливым гневом и ненавистью к существующему строю эксплоатации и унижения.

В области языка и художественного стиля Лу Синь был подлинным новатором, революционером. Он решительно отбросил архаиче-

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. V, стр. 108, изд. Фушэ, 1938.

ский книжный язык (гувэнь, вэньянь) древних конфуцианских канонов, омертвлявших живую речь, делавших ее непонятной и чуждой народу. Но, разрушая устаревшие формы (багу и др.), являвшиеся нормами схоластики и эстетства, и очищая народный язык от наслоений классицизма, душившего живое слово, Лу Синь смело создавал понятный народу литературный язык (байхуа, байхуавэнь). Выражение нового содержания, непосредственно почерпнутого из жизни китайского общества, новыми языковыми и стилистическими средствами явилось главнейшей заслугой Лу Синя.

У Лу Синя — оригинальная писательская манера, свои приемы изображения жизни. Писатель находит свою форму в китайской литературе — короткий рассказ и острые публицистические заметки.

Широкая популярность произведений Лу Синя в значительной степени объясняется тем, что он писал для массового читателя, а не для избранных «ценителей» и эстетов.

Всем своим творчеством Лу Синь доказал, как ненавистно ему феодальное общество, как верит он в новые революционные силы, которые должны уничтожить все гнилое и отжившее в китайском обществе. Это сближает его с Горьким, определяет духовную близость двух великих художников. Лу Синь, как и Горький, стремился вызвать в читателях не просто сострадание, но уверенность, что угнетенные народные массы поднимутся на решительную схватку со своими угнетателями, чтобы завоевать право на жизнь.

«Я глубоко убежден, — писал Лу Синь, — что бесклассовое общество непременно возникнет, и это не только начисто рассеивает все сомнения, но и во много крат умножает мои силы» [1].

Жизнеутверждающий оптимизм, которым проникнуты все произведения Лу Синя, обусловлен глубокой верой писателя в свой народ, в его революционную решимость бороться за свое национальное и социальное раскрепощение.

Сбылись пророческие слова Лу Синя. Китайский народ одержал всемирно-историческую победу, во имя которой Лу Синь так беззаветно сражался всю свою жизнь.

Лу Синь, для которого интересы своей родины, своего народа всегда были выше всего и который всецело отдавал себя служению великому и благородному делу — раскрепощению многострадального китайского народа, был искренним и верным другом Советского Союза. В советском государстве Лу Синь справедливо видел воплощение лучших стремлений передового человечества, олицетворение

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. VI, стр. 26, изд. Фушэ, 1938.

самых смелых, самых революционных предначертаний величайших гениев человечества, осуществление всепобеждающих идей марксизма-ленинизма.

Лу Синь направлял свои гневные обличительные статьи против всех врагов Советского Союза, против тех, кто в припадке зоологической ненависти клеветал на советское государство и народ, показавшие всему человечеству невиданно прекрасный мир свободы и расцвет подлинной культуры.

«Мы выступаем, — писал Лу Синь, — против нападения на Советский Союз. Мы расправимся со всяким чортом, который попытается напасть на Советский Союз, несмотря ни на какие ухищрения наших противников подделаться под справедливость.

Таков единственный путь и для нашего собственного существования!» [1]

На творчество Лу Синя огромное влияние оказала русская классическая и современная советская литература. Это влияние сказалось прежде всего в направлении его творчества, в разоблачении феодально-помещичьего строя, во имя создания новой светлой жизни. Лучшие произведения Лу Синя возникли именно в послеоктябрьскую эпоху. Влияние марксистской эстетики и советской литературы сказалось на их идейной направленности и высоком мастерстве.

В статье «Предисловие к энциклопедии новой китайской литературы» [2] Лу Синь, характеризуя развитие современной китайской литературы, указывает, что литературная реформа, а затем и «литературная революция» в Китае в значительной степени обусловлены влиянием русской и советской литературы.

Лу Синь был не только страстным поклонником, но и одним из наиболее активных популяризаторов русских классиков и советских авторов в Китае. Помимо переводов Гоголя, Чехова и других русских классиков, Лу Синю принадлежат переводы произведений М. Горького, А. Фадеева, Л. Сейфуллиной и ряда других писателей. Заслуга Лу Синя состоит еще и в том, что он подготовил целую плеяду переводчиков советской художественной литературы, благодаря усилиям которых в Китае появляются все новые и новые переводы произведений советских писателей.

Орган компартии Китая «Синьхуажибао», отмечая шестидесятилетие со дня рождения Лу Синя, писал в наиболее напряженный для китайского народа момент антияпонской войны:

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. V, стр. 31—32, изд. Фушэ, 1938.

[2] Чжунго синьвэньсюэ даси, изд. «Ляню тушу гунсы», Шанхай, 1935.

«Лу Синь — народный писатель, он писал для широких народных масс и всегда был вместе с народом... Пусть имя Лу Синя станет великим знаменем движения за нашу новую культуру. С этим знаменем мы придем к намеченной цели».

Для своего времени и для своего народа Лу Синь имеет значение великого Горького. Его творчество является выражением чувств и сознания китайского народа. Его произведения помогают строить новое общество, новую жизнь, создавать новую культуру.

«Я твердо верю, — писал Лу Синь, — что будущее несомненно докажет не только то, что мы были хранителями литературного наследия, но и то, что мы явились основоположниками и строителями нового» [1].

Для Лу Синя, как и для Горького, литература была трибуной для беспощадного, безжалостного обличения несправедливостей и пороков существовавшего общественного строя.

«...Нужно, — призывал Лу Синь, — решительно и неослабно бороться против старого общества, старых сил и достойно ценить то подлинно новое и здоровое, которому принадлежит будущее» [2].

Жизнеутверждающее, оптимистическое мировоззрение Лу Синя обусловливалось глубокой верой писателя в свой народ, в его могучие потенциальные силы, в его революционную решимость бороться за свое национальное и социальное раскрепощение.

Осуществив свои многовековые чаяния, свободолюбивый китайский народ в великом содружестве со странами народной демократии, в нерушимом союзе и дружбе с советским народом строит сегодня народно-демократическое государство. Нет больше в Китае условий, порождавших темных и жалких А-Кью, интеллигентов-неудачников, подобных Кун И-цзи, угнетенных и обездоленных людей, мечтавших лишь о насущном куске хлеба и лишенных права на человеческое счастье.

«Прошло ровно десять лет, — говорит Го Мо-жо, — как Лу Синь ушел от нас. За это время в мире произошли большие перемены и очень большие перемены произошли у нас в Китае. Фашизму, который проклинал Лу Синь, был нанесен уничтожающий удар, а народные силы, которые Лу Синь славил, одержали блестящую победу! Китай провел восьмилетнюю освободительную войну, изгнав со своей земли японских империалистов... И мы берем на себя смелость ска-

---

[1] Лу Синь, полн. собр. соч., т. VII, стр. 848, изд. Фушэ, 1938.

[2] Там же, т. V, стр. 36.

зать, что победа была также завоевана предельными усилиями тех непоколебимых духом людей, которые чтут Лу Синя»[1].

Сбываются вещие слова Лу Синя, писавшего китайскому литератору Вэй Су-юаню еще в 1932 году, когда в Китае свирепствовали силы черной реакции: «Независимо ни от чего, будущее неизбежно принадлежит нам!»

На протяжении десятилетий произведения Лу Синя будят мысль и волнуют совесть огромных масс читателей, призывая их к непримиримой и страстной борьбе, образцом которой является его творчество. В произведениях Лу Синя передана большая правда, правда писателя-революционера, гуманиста, чье творчество укрепляет веру в правое дело, за которое борется все передовое человечество.

Живя одной жизнью со своей страной, непрерывно расширяя круг тем и задач, завоевывая все более широкие массы читателей, современная китайская литература, основоположником которой был Лу Синь, становится подлинным выразителем прогрессивных идей великого китайского народа, одержавшего великую победу и строящего свою новую народную демократическую республику.

Н. Федоренко



---

[1] Го Мо-жо, «Лу Синь с нами», речь на митинге, посвящённом десятилетию со дня смерти Лу Синя, 19 октября 1946 г.

ИЗБРАННОЕ





КУН И-ЦЗИ

Винные лавки в местечке Лучжэнь особенные, совсем не такие, как в других местах. Огромные полукруглые прилавки выходят прямо на улицу. На прилавке постоянно наготове кипяток; здесь всегда можно получить подогретое вино. В полдень и к вечеру, после работы, рабочие заходят в винные лавки выпить чашку желтого вина; лет двадцать назад она стоила всего четыре медяка, теперь — десять. Опершись на прилавок, посетители попивали теплое вино. Еще за один медяк можно взять на закуску чашку побегов бамбука, вареных в соленой воде, или бобов с анисом, а за десять медяков заказать даже что-нибудь мясное. Но у простых посетителей в куртках таких денег не бывает. Те, кто побогаче, в халатах, проходят в комнатку за перегородкой, заказывают там вино и закуску и степенно, не спеша, едят и пьют за столиками.

Двенадцати лет я поступил мальчиком в винную лавку под вывеской «Всеобщее благополучие». Помню, хозяин сказал мне:

— Какой-то ты придурковатый! Боюсь, не сумеешь угодить посетителям в халатах. Лучше уж тебе работать на улице, а не за перегородкой.

С посетителями в куртках обращение было простое, но они слишком много болтали и были очень надоедливы. Опасаясь обмана, они непременно хотели сами видеть, как наливается из бочки в оловянный чайник желтое вино, и предварительно проверяли, нет ли на дне чайника воды; они следили и за тем, как подогревают чайник, опустив его в кипяток, и только тогда успокаивались. Ясно, что подливать воду в вино, при столь неотступном наблюдении, было очень трудно, и спустя несколько дней хозяин решил, что я, по своей глупости, не справлюсь с делом. К счастью, у меня была рекомендация влиятельного лица, и поэтому меня не выгнали из лавки, а поставили подогревать вино.

С тех пор я целыми днями стоял за прилавком и выполнял эту утомительную и скучную обязанность. Больших промахов у меня не было, но меня мучили однообразие и скука. Хозяин всегда был суров, и посетители тоже редко бывали в хорошем настроении; лишь когда в лавку заходил Кун И-цзи, становилось немножко веселее, вот почему я до сих пор его помню.

Кун И-цзи был единственным посетителем в халате, который пил вино, стоя у прилавка. Он был очень высок, у него было бледное лицо, морщинистый лоб, покрытый рубцами и царапинами, и неопрятная седая бородка. Халат на нем был такой грязный и рваный, словно его не стирали и не чинили лет десять. Кун И-цзи обильно уснащал свою речь непонятными выражениями из старых книг, и слушатели понимали не более половины из того, что он говорил. Его фамилия была Кун, и кто-то дал ему прозвище «Кун И-цзи», прибавив к его имени два начальных иероглифа, которые в школьных прописях следуют за иероглифом Кун и не имеют смысла.

Стоило Кун И-цзи появиться перед нашей лавкой, как сразу же поднимались шум и смех:

— Кун И-цзи, опять на твоем лице свежие царапины!

Но он не отвечал и, подойдя к прилавку, заказывал:

— Две чашки вина и чашку бобов! — и тотчас выкладывал девять медяков. Посетители продолжали дразнить его:

— Ты, конечно, опять что-нибудь украл?

Кун И-цзи широко раскрывал глаза и говорил:

— Ну, как это можно ни с того ни с сего позорить честного человека?

— Какая уж там честность? Позавчера я своими глазами видел, как ты украл книгу в доме Хэ. Тебя там здорово избили.

Кун И-цзи краснел, на лбу его надувались жилы, и он горячо доказывал:

— Взять книгу, это еще не воровство... У грамотных людей это самое обычное дело... Разве это можно назвать воровством?

Затем он говорил какие-то малопонятные слова, например: «Совершенный муж тверд в нищете» [1]. Его речь вызывала общий хохот, и веселье охватывало нашу лавку.

Мне приходилось слышать, как за спиной Кун И-цзи люди говорили, что он когда-то учился, но каждый раз проваливался на первом же экзамене *[2] и не научился зарабатывать на жизнь. Поэтому он все беднел и опускался и дошел до полной нищеты. На свое счастье, он красиво писал иероглифы и за еду переписывал целые книги. Жаль только, что у него были дурные наклонности: он был ленив и любил выпить. Не раз случалось, что, просидев за работой несколько дней, он бесследно исчезал вместе с книгами, бумагой, кистями и тушницей. Постепенно ему перестали давать работу. Кун И-цзи голодал, ему приходилось подчас воровать. Но у нас в лавке он вел себя безупречно, лучше даже, чем многие другие, и всегда аккуратно расплачивался. Когда у него не было наличных, его фамилию записывали на доске должников; обычно не проходило и месяца, как он уплачивал свой долг, и его имя стиралось с доски.

Кун И-цзи выпивал полчашки вина, и его бледность пропадала.

— Кун И-цзи, это верно, что ты грамотный? — спрашивали посетители.

Он смотрел на них так, как будто они не заслуживали ответа.

— Как же это ты даже до половины первой ученой степени не дотянул?

Кун И-цзи это очень огорчало, он снова бледнел и про-

---

[1] Известное изречение из «Афоризмов» Конфуция.

[2] Примечания к словам, отмеченным *, см. в конце книги.

износил взволнованную речь на непонятном книжном языке. Раздавался взрыв хохота, и бурное веселье опять охватывало нашу лавку.

Тут и я мог посмеяться со всеми; хозяин не упрекал меня за это. Больше того, заметив Кун И-цзи, он сам обращался к нему с подобными же вопросами, чтобы позабавить посетителей. Кун И-цзи понимал, что всех ему не переспорить, и заводил разговор с детьми. Как-то он спросил меня:

— Ты учился грамоте?

Я нерешительно кивнул головой.

— Учился? Ну ладно, я проэкзаменую тебя. Как пишется первый иероглиф из названия блюда «бобы с анисом»?

«Сам нищий, а еще экзаменует меня!» — подумал я и отвернулся. После долгого ожидания Кун И-цзи ласково проговорил:

— Может быть, ты не умеешь писать?.. Я научу тебя. Запомни эти иероглифы, они тебе пригодятся, чтобы написать счет, когда ты станешь хозяином лавки.

Я про себя подумал, что мне еще далеко до хозяина лавки. Да и наш хозяин сам никогда не выписывает счетов на бобы с анисом. И, не зная, смеяться ли мне, или сердиться, я небрежно ответил:

— Я и без твоего ученья знаю. В первом иероглифе наверху — «трава», а внизу — «возвращаться»? [1]

Кун И-цзи очень обрадовался. Он поднял два пальца, потом постучал по прилавку и одобрительно кивнул головой:

— Верно, верно!.. А знаешь ли ты, что иероглиф «возвращаться» имеет четыре начертания?

Я разозлился еще больше и, сжав губы, отошел в сторону. Кун И-цзи обмакнул палец в вино и хотел было написать иероглиф на прилавке, но, заметив, что я не обращаю на него внимания, огорченно вздохнул.

Случалось, соседские ребятишки, заслышав наш веселый смех, прибегали к лавке и окружали Кун И-цзи. Он раздавал им бобы с анисом, каждому по одному. Но дети, быстро проглотив бобы, продолжали стоять и заглядывать

---

[1] В этом иероглифе знак «трава» пишется наверху, а знак «возвращаться» внизу.

в его блюдце. Кун И-цзи начинал беспокоиться, закрывал блюдце ладонью и, кланяясь, говорил:

— У меня осталось очень немного... — Потом выпрямлялся и смотрел на бобы, покачивая головой. — Немного. Разве здесь много? Совсем немного.

И ребятишки с веселым смехом разбегались.

Так Кун И-цзи развлекал людей. Но если бы его и не было, в лавке ничего бы от этого не изменилось.

Однажды, за два или три дня до наступления осеннего праздника, хозяин, не торопясь, подсчитывал долги [1]. Взяв доску с записью должников, он сказал:

— Что-то Кун И-цзи пропал. За ним ведь должок, девятнадцать медяков!

Только тогда я вспомнил, что Кун И-цзи действительно давно уже не заходил.

Кто-то из гостей сказал:

— Он не может притти, у него сломаны ноги...

— Ну? — вырвалось у хозяина.

— Он все воровал, вот и попался. Он задумал обокрасть дом цзюйжэня Дина, а попробуй-ка что-нибудь украсть у этого Дина!

— Ну и что же?

— Сперва его заставили подписать признание, а потом давай дубасить. И били его до тех пор, пока не перебили ноги.

— А потом?

— Что потом? Ноги перебили...

— Да как же?

— Кто знает? Перебили... Может быть, он уже и умер.

Хозяин больше не спрашивал и, не торопясь, продолжал свои подсчеты.

Осенние праздники прошли. Ветер с каждым днем становился холоднее, чувствовалось, что близится зима. Целыми днями я не отходил от огня, и все же приходилось надевать ватную куртку. Как-то после полудня, когда в лавке не было ни одного посетителя, я закрыл глаза и задремал. Вдруг слышу голос:

— Эй, ты! Подогрей-ка чашку вина!

---

[1] Праздник полнолуния — 15 августа по лунному календарю. По китайскому обычаю, перед каждым большим праздником проверяют уплату долгов; все долги должны быть уплачены к новому году.

Голос был очень тихий, но знакомый. Я огляделся кругом — ни души. Я поднялся и взглянул за прилавок. Наш Кун И-цзи сидел на земле у самого прилавка. Лицо его почернело и осунулось, он был совершенно неузнаваем. Его халат был изодран в клочья. Согнув ноги, он сидел на камышовой сумке, подвязанной к плечам соломенными жгутами.

— Подогрей-ка чашку вина, — повторил он.

Хозяин выглянул из-за прилавка и воскликнул:

— Кун И-цзи? А ведь за тобой еще девятнадцать медяков!

Кун И-цзи поднял голову и нерешительно ответил:

— Это в следующий раз. Сейчас заплачу наличными... Хочется хорошего вина.

Хозяин с обычной улыбкой спросил:

— Ты опять что-нибудь стащил, Кун И-цзи?

Но на этот раз Кун И-цзи, не вступая в спор, ответил:

— Не нужно смеяться!

— Смеяться? Если бы ты не воровал, тебе не перебили бы ноги!

Кун И-цзи тихо промолвил:

— Оступился и сломал, оступился, оступился...

Взглядом он словно умолял не говорить об этом. Подошли несколько человек и стали смеяться вместе с хозяином. Я подогрел вино, вынес его и поставил на порог. Кун И-цзи вытащил из кармана рваного халата четыре медяка и положил мне в руку. Его рука была в грязи — он ползал на руках. Он быстро выпил вино и под взрыв веселого смеха медленно пополз, опираясь на руки.

После этого я долго не видел его. Помню, когда пришел конец года, хозяин, сняв доску должников, сказал:

— А за Кун И-цзи все еще остается должок в девятнадцать медяков.

На следующий год, когда наступили весенние праздники, хозяин повторил:

— А за Кун И-цзи все еще должок — девятнадцать монет!

В осенний праздник он уже ничего не сказал.

Не появился Кун И-цзи и в конце года.

Больше я не видел его. Пожалуй, Кун И-цзи и в самом деле умер.

Март 1919 г.





ЗАВТРА

— Ни звука не слышно. Что такое с малышом? — пробормотал Лао Гун, по прозвищу Красноносый, приподымая чашку с желтым вином и указывая на стену соседнего дома.

А-у, прозванный Синяя кожа, поставил свою чашку и, стукнув Лао Гуна что было силы по спине, пьяным голосом заорал:

— Ты... ты... опять, кажется, спятил?

Местечко Лучжэнь славилось своим пристрастием к тишине. В нем даже сохранилось несколько приверженцев старины, которые запирали свои дома и укладывались спать, едва наступал вечер. До глубокой ночи бодрствовали лишь в двух домах: в винной лавке «Сянь Хэн», где, собравшись вокруг стойки, за вином и едой веселились собутыльники, да рядом, в доме Шань Сы, овдовевшей в позапрошлом году. Чтобы прокормить себя и своего трехлетнего сына, она пряла пряжу.

Но вот уж несколько дней, как в доме Шань Сы умолкла прялка. А так как до глубокой ночи бодрствовали лишь в этих двух домах, то, конечно, только Лао Гунь с его приятелями могли слышать шум прялки за стеной, и только они могли заметить, что прялка в доме Шань Сы умолкла.

Получив затрещину, Лао Гун как ни в чем не бывало опрокинул в глотку большую чашку вина и замурлыкал песенку.

В это время Шань Сы укачивала своего сына, сидя на краю кровати. На полу сиротливо стояла заброшенная прялка. Тусклый свет лампы падал на багрово-синее личико ребенка. Шань Сы думала: «И к предсказателю я обращалась, и обет давала, и домашними лекарствами поила — ничего не помогает. Что еще делать? Остается пойти с ним на прием к Хэ Сяо-сяню. Но может быть Бао-эру только ночью тяжело, а днем станет легче, с восходом солнца жар спадет и дыхание успокоится? С больными так часто бывает».

Шань Сы была женщина темная и не понимала, какая страшная опасность таится в слове «но». Правда, из-за него и плохое иногда счастливо кончается, зато сколько хорошего кончается печально.

Летние ночи коротки. Немного времени прошло с тех пор, как Лао Гун перестал мурлыкать свою песенку, а на востоке уже побледнело небо и в оконную щель проникли серебристые лучи утренней зари.

Шань Сы не так легко было дождаться рассвета, как другим. Ей казалось, что утро наступает слишком медленно. Каждый вздох Бао-эра длился чуть не целую вечность. Наконец рассвет восторжествовал над светом лампы. Тогда Шань Сы увидела, что ноздри Бао-эра трепещут, словно веер.

Она поняла, что ребенку плохо, и тихонько вскрикнула:

— Ай-я! Что же делать? Надо нести его к Хэ Сяо-сяню, другого выхода нет.

Шань Сы была женщина темная, но решительная. Она вытащила из деревянного сундучка свои сбережения, скопленные по грошам — тридцать серебряных и сто восемьдесят медных монеток — и сунула их в карман, потом заперла двери и с ребенком на руках торопливо направилась к дому Хэ Сяо-сяня.

Было еще рано, но у Хэ Сяо-сяня уже сидело четверо больных. Шань Сы вынула из кармана несколько монет и купила билетик с предсказанием. Наконец она подошла к Хэ Сяо-сяню, он протянул руку и стал двумя пальцами прощупывать у ребенка пульс. Ногти у Хэ Сяо-сяня были такие длинные, что Шань Сы даже удивилась и, преисполнившись уважения, подумала: «Бао-эр обязательно попра-

вится». Однако у нее нехватило сил скрыть свою тревогу и, не утерпев, она робко спросила:

— Господин, скажите, что с моим Бао-эром?

— У него стеснение жара.

— А это не опасно? Он...

— Пусть он сперва проглотит две пилюли.

— Ему трудно дышать, у него дрожат ноздри.

— Это огонь побеждает металл...

Оборвав себя на полуслове, Хэ Сяо-сянь закрыл глаза, и Шань Сы не посмела еще раз обратиться к нему с вопросом. Сидевший напротив Хэ Сяо-сяня человек лет тридцати успел тем временем выписать рецепт. Указывая на несколько иероглифов, написанных в углу рецепта, он сказал:

— Эти пилюли — лучшее лекарство для детей. Если хотите достать хорошие, обратитесь в аптеку «Цзи-ши-лао», в доме семьи Цзя.

Получив рецепт, Шань Сы вышла; хотя она была женщина темная, но все же поняла, что от дома Хэ Сяо-сяня до аптеки «Цзи-ши-лао» ближе, чем от ее дома, и, конечно, удобнее раньше купить лекарство, а потом возвратиться домой. И Шань Сы поспешила прямо в аптеку. Приказчик, любуясь своими длинными ногтями, долго рассматривал рецепт, потом медленно завернул лекарство. Шань Сы с ребенком на руках ждала стоя.

Вдруг Бао-эр вскинул ручонку и стал дергать себя за волосы, спутанные, как комок шелковой пряжи. Он прежде никогда так не делал, и Шань Сы замерла от испуга.

Солнце уже стояло высоко. Шань Сы возвращалась домой; в руках у нее был пакет с лекарством и ребенок; чем дальше она шла, тем тяжелее становилась ее ноша. Бао-эр все время метался, и путь от этого казался еще длиннее. В изнеможении Шань Сы присела на дороге, у ограды присутственного места. Она вся была в поту, и ее одежда прилипла к телу. Бао-эр притих; казалось, он заснул. Она с трудом поднялась и, едва передвигая ноги, поплелась дальше. Вдруг над ее ухом кто-то произнес:

— Шань Сы, дай я тебе помогу нести твоего сорванца!

Это был голос А-у. Шань Сы подняла голову и увидела, что он шагает рядом. Глаза А-у были мутные и сонные.

В эту минуту Шань Сы очень надеялась, что какой-нибудь дух спустится с небес и поможет ей, но она не хотела, чтобы эта помощь исходила от А-у Синей кожи. И все же это он, как рыцарь, предложил ей свою помощь. В конце концов она решилась и уступила. А-у протянул руки и взял у нее ребенка. Почувствовав прикосновение его руки, Шань Сы вспыхнула, краска залила ей все лицо до самых ушей.

Они пошли вместе, держась на некотором расстоянии друг от друга. Синяя кожа что-то говорил ей, но Шань Сы почти не отвечала. Пройдя немного, А-у остановился и передал ей ребенка, сказав, что его ждет приятель, с которым он еще вчера сговорился вместе пообедать. Шань Сы взяла ребенка. К счастью, до ее дома уже было недалеко. Издали она заметила, что у ворот сидит бабушка Ван Цзю.

— Как твой ребенок, Шань Сы? Была ты у доктора?

— Была-то была... Бабушка Ван Цзю, ты много видела на своем веку, взгляни-ка лучше ты своим старым опытным глазом, что с ним?..

— Гм...

— Ну, как?

— Гм... — бабушка Ван Цзю внимательно посмотрела на ребенка, вздохнула и покачала головой.

Был уже полдень, когда Бао-эр проглотил лекарство. Шань Сы внимательно следила за ним. Казалось, ему стало легче дышать. К вечеру он неожиданно приоткрыл глаза, позвал — «ма» и сразу заснул. Не проспал он и четверти часа, как на лбу и на крыльях носа у него стали одна за другой выступать бусинки пота. Осторожно вытирая их, Шань Сы почувствовала, что ее пальцы стали липкими. Растерявшись, она коснулась рукой груди сына и, больше не сдерживая себя, заплакала. Неслышное дыхание ребенка быстро ослабевало. Тихие всхлипывания Шань Сы перешли в рыдания.

Во дворе столпились люди. Бабушка Ван Цзю и А-у Синяя кожа вошли в комнату, другие, среди которых были хозяин винной лавки и Лао Гун, остались на дворе. Бабушка Ван Цзю стала распоряжаться. Она сожгла связку бумажных жертвенных денег и, заложив кое-какие вещи, достала для Шань Сы два юаня: необходимо было приготовить угощение для тех, кто ей будет помогать.

Прежде всего надо было достать гроб. У Шань Сы сохранились еще пара серебряных сережек и позолоченная шпилька. Их отдали в заклад хозяину винной лавки, с тем чтобы он заплатил за гроб. А-у, протянув руку, предложил свою помощь; бабушка Ван Цзю оборвала его, разрешив только отнести завтра гроб на кладбище. Синяя кожа выругался: «Вот старая скотина», но тотчас же спохватился и прикрыл рот рукой. Вечером вернулся хозяин винной лавки и сказал, что гроб будет готов под утро. К тому времени, когда он возвратился, все помогавшие Шань Сы уже отужинали и, по лучжэньскому обычаю ложиться спать с наступлением темноты, к восьми часам разошлись по домам. Лишь в винной лавке «Сянь Хэн» А-у, опершись о прилавок, тянул вино да Лао Гун мурлыкал свою песенку.

Шань Сы осталась одна и безутешно плакала, сидя на краю кровати. Бао-эр лежал тут же. На полу безмолвствовала прялка. Прошло много времени, казалось Шань Сы, наконец, выплакала все слезы. Глаза ее опухли. Она огляделась вокруг с каким-то странным чувством: она не верила тому, что произошло.

— Нет, нет, — говорила она себе, — я сплю... Утром проснусь и увижу, что рядом спит Бао-эр. Он тоже проснется, крикнет «ма» и начнет играть и прыгать.

Давно умолкла песня Лао Гуна, и в лавке «Сянь Хэн» погасли огни.

Шань Сы открыла глаза. Запели петухи, небо на востоке побледнело, и свет утренней зари проник в оконную щель.

Серебристая заря постепенно наливалась пурпуром. В комнату скользнул луч солнца. Шань Сы неловко приподнялась и села. Кто-то постучал в дверь. Пересилив испуг, Шань Сы бросилась отпирать. За дверью стоял незнакомый человек, позади него — бабушка Ван Цзю.

— Ай-я! Они принесли гроб.

Во второй половине дня на гроб положили крышку. Шань Сы плакала, не отрывая глаз от Бао-эра, никто не решался закрыть гроб наглухо. Наконец бабушка Ван Цзю, позволив Шань Сы вволю выплакаться, решительно подошла и отвела ее в сторону. Тем временем гроб быстро заколотили.

Шань Сы измучилась и почти перестала понимать, что происходит вокруг. Все необходимое уже сделано. Связка бумажных жертвенных денег сожжена еще вчера, утром сожгли сорок девять свитков с погребальными заклинаниями. Бао-эр одет во все новое. Его любимые игрушки — глиняный человечек, две деревянные чашечки и две бутылочки — стоят у изголовья гроба. Бабушка Ван Цзю, старательно прикинув на пальцах, не обнаружила никаких упущений.

В этот день А-у совсем не пришел, и хозяин винной лавки нанял для Шань Сы двух носильщиков, за двести десять вэней[1] каждого, чтобы они отнесли и поставили гроб на кладбище. Бабушка Ван Цзю еще раз помогла Шань Сы приготовить для всех угощение. После еды, когда солнце спустилось за горы, все стали собираться домой и незаметно разошлись.

Шань Сы почувствовала, что у нее сильно кружится голова. Немного погодя она отдышалась, но в мыслях у нее все спуталось. Так с нею никогда не бывало. Чем больше она пыталась постигнуть происшедшее, тем оно становилось непостижимей. Она сделала странное открытие: комната, в которой она жила столько лет, вдруг стала очень большой, слишком тихой и пустой.

Шань Сы зажгла лампу и еще острее почувствовала, как опустела комната. Она бессознательно заперла дверь, потом присела на край кровати. На полу сиротливо стояла прялка. Шань Сы сосредоточенно оглядела комнату и почувствовала, что не в силах больше так сидеть. Да, комната стала слишком большой и пустой, и все вещи утратили свой смысл. Пустота окружала Шань Сы, и вещи, ставшие ненужными, давили ее. Она не могла дышать.

Теперь она поняла, что Бао-эр и вправду умер. То, что ей казалось невозможным, стало действительностью. Не желая больше видеть комнату, Шань Сы погасила лампу и легла. Она плакала и думала: «Ведь было время, когда я пряла пряжу, а Бао-эр сидел подле меня, ел бобы со сладким анисом и поглядывал на меня своими черными глазенками. Как-то раз он задумался и сказал: «Ма! Отец продавал пельмени. Когда я вырасту, я тоже стану

---

[1] Вэнь — мелкая медная монета. В юане (основная денежная единица в Китае) было около 2800 вэней.

торговать пельменями, наторгую много-много денег и все отдам тебе».

Тогда и пряжа, тянувшаяся дюйм за дюймом, словно оживала под ее рукой. А что теперь?

На этот вопрос Шань Сы не могла найти ответа.

Я говорил уже, что она была женщина темная, какой же ответ могла она найти? Она только чувствовала, что комната стала слишком большой, тихой и пустой, вот и все. Но все же она понимала, что душа не может возвратиться и что ей больше не увидеть Бао-эра. Вздохнув, она сказала вслух:

— Бао-эр, ты должен быть здесь попрежнему. Ведь ты будешь приходить ко мне во сне? Правда?

Она закрыла глаза, чтобы поскорее заснуть и увидеться с Бао-эром. В наступившем безмолвии и необычной пустоте она ясно слышала свои горестные вздохи.

Сон незаметно овладел ею, и в комнате воцарилась полная тишина. Умолкла и песенка Лао Гуна за стеной. Он вышел из винной лавки и насмешливо запричитал:

— Бедняжечка моя, как жаль мне тебя, сиротинка ты.

Синяя кожа крепко ухватил его за плечо, и они побрели, смеясь, спотыкаясь и толкая друг друга на каждом шагу.

Шань Сы спала. Лао Гун и А-у ушли. В лавке «Сянь Хэн» заперли дверь, и местечко Лучжэнь погрузилось в полный покой. Лишь темная ночь мчалась сквозь эту тишину, чтобы скорее превратиться в завтрашний день, да где-то во мраке завывали одинокие псы.

Июнь 1920 г.





МАЛЕНЬКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В мгновение ока пролетело шесть лет со дня моего приезда из деревни в столицу. За это время произошло не мало больших событий, которые называются государственными и свидетелем которых мне привелось быть; но ни одно из них не оставило следа в моем сердце, и когда я думаю о влиянии, оказанном ими на меня, я нахожу лишь ухудшение моего и без того скверного характера и вижу, что они заставляли меня все пренебрежительнее относиться к людям.

Но вот одно маленькое происшествие оказалось для меня полным значения, вырвало меня из мрачного состояния духа, и я до сих пор не могу забыть его.

Это было зимой тысяча девятьсот семнадцатого года. Бушевал северный ветер, но я вынужден был рано утром выйти из дому по срочному делу. На улице почти не было прохожих, и мне с большим трудом удалось отыскать рикшу. Я велел ему отвезти меня к южным воротам. Прошло немного времени, и улегся ветер, исчезла пыль; передо мной расстилалась чистая белая полоса дороги, и рикша побежал быстрее. Не успел я доехать до южных ворот, как кто-то преградил путь рикше и медленно упал перед ним.

Это была женщина с белыми нитями в волосах, в старой изодранной одежде. Она неожиданно возникла у края дороги и бросилась наперерез коляске; рикша повернул, но ветер распахнул ее ватную незастегнутую куртку, и

она зацепилась за оглоблю. К счастью, рикша во-время замедлил бег, и женщина не попала под колеса.

Она лежала на земле; рикша остановился. Мне казалось, что она не могла серьезно пострадать, на дороге же не было свидетелей ее падения, и я негодовал на то, что рикша вмешивается не в свое дело, нарывается на неприятности и задерживает меня.

— Ничего серьезного здесь нет. Пошел! — сказал я ему.

Рикша не обратил на меня никакого внимания, — может быть, он не слышал, — оставил коляску и бережно поднял женщину.

Держа ее за локоть, он спросил:

— Что с тобой?

— Я очень ушиблась.

Я подумал: «Я видел, как медленно ты падала. Разве могла ты ушибиться? Ты просто притворяешься, и это отвратительно. Рикша лезет не в свое дело и доставляет себе ненужные хлопоты. Пусть теперь сам выпутывается».

Услышав ответ женщины, рикша, не задумываясь, осторожно повел ее, все так же бережно держа под руку. Удивленный, я взглянул в том направлении, куда они пошли, и увидел полицейский участок.

Полицейские еще не успели выйти на улицу после только что утихшего ветра, и рикша ввел женщину в ворота.

Меня внезапно охватило странное ощущение, мне показалось, что фигура рикши, покрытая дорожной пылью, стала расти, и чем дальше он уходил от меня, тем становился больше. И вот мне нужно было уже поднимать голову, чтобы смотреть на него. Какая-то сила исходила от рикши, давила меня и, казалось, вытесняла глубоко спрятанного во мне «мелкого человечка».

Меня как будто покинула жизнь, и я сидел неподвижно и бездумно, пока не увидел вышедшего из ворот и направляющегося ко мне полицейского.

Я сошел с коляски. Он подошел ко мне и сказал:

— Наймите другого рикшу, этот вас дальше не повезет.

Я машинально опустил руку в карман, вынул большую горсть медяков и протянул их полицейскому:

— Передайте ему это, пожалуйста.

Ветер совсем утих, но на дороге было попрежнему безлюдно. Я шел и думал, и я боялся думать о себе. Я отвлекал себя от мыслей о том, что произошло, но для чего была эта горсть медяков? Чтобы вознаградить его? Да смею ли я быть судьей поступков этого рикши? Я не умел ответить себе на этот вопрос.

До сих пор память об этом происшествии живет во мне, терзает меня и напоминает мне о том, что надо строже относиться к себе.

Все политические перемены, все войны, прошедшие за эти несколько лет, так же забыты мною, как слова из книги моего детства: «Он сказал: «Стихи гласят...» [1] А это маленькое происшествие так и стоит перед моими глазами, и стыдит меня, и заставляет меня быть лучше; оно укрепляет мое мужество и усиливает мою надежду.

Июль 1920 г.



---

[1] «Книга стихов» (Ши-цзин) — одна из древних книг конфуцианского канона, составленная примерно в VI веке до н. э. В старом Китае шести-семилетних школьников заставляли заучивать наизусть текст, смысла которого дети не понимали.



ВОЛНЕНИЕ

Солнце медленно собирало нити своих золотистых лучей с полей, раскинувшихся недалеко от реки. Листья деревьев уцзю [1], растущих вдоль берега, дышали сухо и порывисто; под деревьями, жужжа, танцовали в воздухе пестроногие москиты. Над трубами крестьянских домов, выходящих к реке, дым от стряпни понемногу стал исчезать, женщины и дети обрызгивали водой землю у входа в свои жилища, расставляли маленькие столы и низкие скамейки: каждый знал, что наступило время ужина.

Старики и молодые мужчины сидели на табуретках, обмахиваясь веерами, сделанными из листьев банановых пальм, и болтали на досуге. Дети прыгали вокруг или, сидя на корточках под деревьями, играли в камешки. Дым очагов разъедал глаза женщин; они выносили черную пареную капусту и горячий желтоватый рис, от которого валил пар. По реке проплыла лодка с развлекающимися интеллигентами. Один из них, местное литературное светило, в порыве поэтического вдохновения, воскликнул: «О, свободная от мыслей и забот радость деревенской жизни».

Однако утверждение этого светила не совсем отвечало действительности, он не слышал, что в этот момент говорила старуха Цзю-цзинь [2].

---

[1] Уцзю — дерево, из плодов которого вырабатывается растительное масло.

[2] Цзинь — 0,6 килограмма. В цзине обычно 16 лянов. Лян — 37 граммов. Цзю-цзинь — девять цзиней. Лю-цзинь — шесть цзиней. Ци-цзинь — семь цзиней.

А она, в порыве гнева стуча сломанным веером по ножке скамейки, твердила:

— Я дожила до семидесяти девяти лет... Пожила достаточно... Глаза бы мои не смотрели на такое разорение!.. Хоть бы мне умереть! Сейчас подадут на стол, а на ужин только жареные бобы — нищенская еда!

Ее пра-правнучка Лю-цзинь, зажав в кулаке пригоршню бобов, бежала к ней, но, почуяв неладное, стремглав бросилась в сторону реки и спряталась за деревом, а потом, высунув свою маленькую головку с двумя торчащими косичками, громко крикнула:

— У-у, старая злюка.

Несмотря на свой почтенный возраст, Цзю-цзинь не была глухой, но она не расслышала слов ребенка и продолжала бормотать про себя:

— Вот уж правда, что с каждым поколением все хуже и хуже...

В этой деревушке был странный обычай. Когда рождался ребенок, мать взвешивала его и по количеству цзиней ему давали прозвище. Старуха Цзю-цзинь давно уже стала ворчливой: она часто повторяла, что в дни ее молодости и погода не была такой жаркой, и бобы не были такими твердыми, и что теперь вообще все идет неправильным путем. Вот, например, пра-правнучка Лю-цзинь весила при рождении меньше пра-прабабушки на три цзиня и меньше своего отца Ци-цзиня на один цзинь. Все это она считала неопровержимым доказательством ухудшения рода и яростно твердила:

— Вот уж правда, что с каждым поколением все хуже и хуже!

Жена ее внука Ци-цзиня подошла к столу, держа в руках корзинку с вареным рисом, и, швырнув ее на стол, запальчиво сказала:

— Ты опять, старая, взялась за свое? Разве Лю-цзинь при рождении не весила шесть цзиней и пять лян? У вас в семье, наверно, были восемнадцатиляновые весы, и они показывали больший вес. На настоящих же шестнадцатиляновых весах наша Лю-цзинь весила бы не меньше семи цзиней. А что до пра-прадеда и свекра, то я не думаю, чтобы они весили полных десять и восемь цзиней, как ты говоришь. Верно, тогда и цзинь был в четырнадцать лян.

— С каждым поколением все хуже и хуже! — твердила старуха.

Жена Ци-цзиня не успела ей ответить — она неожиданно увидела своего мужа, выходящего из переулка, и тут же обрушила свой гнев на него.

— Эй ты, дохлятина! — закричала она. — Только сейчас возвращаешься? За смертью ходил, что ли? Тебе наплевать, что люди ждут тебя ужинать!

Хотя Ци-цзинь и жил в деревне, он мечтал о «резвом галопе Фэй-хуана» *, и его мысли давно парили в высоте. Начиная с деда, вот уже три поколения в их роду никто из мужчин не брался за мотыгу. Следуя этому примеру, и Ци-цзинь толкал шестом пассажирскую джонку. Он перевозил людей утром из местечка Лучжэнь в город, а к вечеру — назад в Лучжэнь. Поэтому он был прекрасно осведомлен о том, где, например, бог грома поверг в прах духа стоногого дракона или девушка родила чудовище... Он безусловно имел некоторый вес в глазах деревенских жителей. Но летом в деревне по давнему обычаю ужинали, не зажигая лампы, и Ци-цзинь знал, что за позднее возвращение ему влетит от жены.

Ци-цзинь держал в руке длинную — больше шести чи [1] — трубку из пятнистого бамбука с реки Сян, с мундштуком из слоновой кости и чубуком из белой меди. С опущенной головой он медленно подошел и сел на скамейку. В ту же минуту откуда-то выскочила Лю-цзинь и уселась рядом с отцом.

— Па-па!

Ци-цзинь не отозвался.

— С каждым поколением все хуже и хуже! — завела свое старуха Цзю-цзинь.

Ци-цзинь поднял голову и, вздохнув, сказал:

— Император вступил на трон дракона.

Жена Ци-цзиня на мгновение застыла от изумления, потом, что-то сообразив, воскликнула:

— Ну, вот и хорошо; теперь, значит, будут императорские милости и всеобщее прощение!

Ци-цзинь опять вздохнул и сказал:

— У меня нет косы...

---

[1] Чи — 32 сантиметра.

— Разве император потребует, чтобы у всех были косы? *

— Да.

— Откуда ты это знаешь? — забеспокоившись, быстро спросила она.

— В винной лавке «Успех во всем» только об этом и говорят.

Тут жена Ци-цзиня поняла, что дело действительно может обернуться очень скверно. Винная лавка «Успех во всем» была верным источником всех новостей в местечке Лучжэнь. Бросив взгляд на бритую голову Ци-цзиня, она пришла в бешенство. Мысленно проклиная его и с трудом сдерживая свою ненависть, она наполнила чашку горячим рисом и сунула ее Ци-цзиню.

— Ешь скорее свой рис! Скорбными слезами косу не вырастишь!

Солнце собрало свои последние лучи, и над потемневшей водой пронесся прохладный ветерок. На берегу, у домов, слышался только стук чашек и палочек для еды. На спинах людей стали выступать капельки пота. Когда жена Ци-цзиня покончила с третьей чашкой риса, она подняла голову и сквозь ветви деревьев увидела коротенького и толстого Чжао Ци-е, переходившего через дощатый мостик. Он был одет в длинный голубой халат.

Чжао Ци-е был хозяином винной лавки «Источник прекрасного» в соседней деревне, а также единственным на тридцать ли в округе выдающимся человеком. В нем сочетались деловые способности и ученость, правда, его ученость сильно отдавала затхлостью. У него было больше десяти томов Цзин Шэн-тана [1] — критика «Истории Троецарствия» *. Он постоянно сидел над иероглифами, читая их вслух один за другим. Он помнил не только имена и фамилии «генералов-тигров» — пяти полководцев из «Истории Троецарствия», но также и их прозвища. Например, Хуан Чжун и Ма Чао назывались еще Хань-шэн и Мын-ци; все это он знал твердо. После революции он закрутил свою косу на макушке, как это делают даосские монахи и, вздыхая, часто говорил, что

---

[1] Цзин Шэн-тан — известный ученый, критик и комментатор исторических работ XVII века.

если бы был жив Чжао Цзы-лун [1], в мире не было бы такого беспорядка, как теперь.

Жена Ци-цзиня своими зоркими глазами еще издали разглядела, что сегодня Чжао Ци-е не похож на даосского монаха. Передняя часть его головы была гладко выбрита, а на макушке торчали черные волосы. Она сразу догадалась, что император вступил на трон дракона и что теперь плохо придется тому, у кого нет косы *. Значит, Ци-цзиню на самом деле грозит большая опасность. Недаром Чжао Ци-е вырядился в длинный голубой халат, он не надевает его по пустякам. За последние три года он появлялся в нем только дважды. В первый раз — когда заболел поссорившийся с ним рябой А-сы, и во второй — когда умер Лу Та-е, наскандаливший в его винной лавке. Сегодня Чжао Ци-е опять ликовал, потому что его враг попал в беду.

Жена Ци-цзиня вспомнила, как два года тому назад Ци-цзинь, спьяну, обозвал Чжао Ци-е «паршивой утробой», и сердце ее заколотилось.

Когда Цжао Ци-е проходил мимо столов, все вставали и, указывая палочками на свои чашки, говорили: «Просим поужинать с нами». Цжао Ци-е улыбался, кивал головой и, отвечая: «Цин, цин» [2], прошел прямо к столу, за которым сидела семья Ци-цзиня. Все поднялись со своих мест, приветствуя его.

— Цин, цин, — произнес он, приятно осклабясь и пристально вглядываясь в блюдо, стоявшее на столе. — Какие ароматные овощи!.. А новости слышали? — вдруг спросил он, стоя за спиной Ци-цзиня и обращаясь к его жене.

— Император вступил на престол дракона, — ответил Ци-цзинь.

Жена Ци-цзиня с натянутой улыбкой сказала:

— Император вступил на престол, когда же будут императорские милости и всеобщее прощение?

— Императорские милости и всеобщее прощение, конечно, будут скоро. А вот что вы думаете... — и тут тон его стал суровым, — насчет косы Ци-цзиня? Коса — это не пустяк. Вы знаете, что во времена «длинноволосых» *

---

[1] Цзы-лун — прозвище «генерала-тигра» Чжао Юня, одного из героев «Истории Троецарствия».

[2] Не беспокойтесь.

тот, кто берег волосы, терял голову, а кто берег голову — терял волосы.

Ци-цзинь и его жена никогда не читали книг и не разбирались в исторических тонкостях, но они знали, что если ученый Чжао Ци-е говорит так, то это не пустые слова. Беда была неотвратимой, и они чувствовали себя, как приговоренные к смерти. В ушах у них зашумело, и они не могли вымолвить ни слова.

— С каждым поколением все хуже и хуже! — воспользовавшись случаем, вставила старуха Цзю-цзинь, обращаясь к Чжао Ци-е. — Теперешние длинноволосые только режут людям косы, и люди становятся похожими не то на даосских, не то на буддийских монахов. А разве прежде такие были длинноволосые? Я дожила до семидесяти девяти лет, прожила достаточно. Раньше длинноволосые обертывали вокруг головы красный шелк, ниспадающий вниз до самых пят. Князья — те украшали голову желтым шелком, падающим складками. Красный шелк, желтый шелк... О! Я жила достаточно — семьдесят девять лет!

Вскочив с места, жена Ци-цзиня чуть слышно прошептала:

— А что же будет в нашей семье со стариками и детьми? Ведь он их опора!

Чжао Ци-е, покачав головой, сказал:

— Ничего не поделаешь. Тот, у кого нет косы, будет наказан. В книгах это очень ясно объяснено, параграф за параграфом. Никого не интересует, есть ли в семье виновного старики и дети, или нет.

Когда жена Ци-цзиня услышала, что так написано даже в книгах, она потеряла всякую надежду. К ее беспокойству прибавилась злость на Ци-цзиня и, угрожающе размахивая палочками перед его носом, она закричала:

— Этакая дохлятина! Сам виноват, сам и отвечай! Я тебе сразу сказала, когда начался переворот: «Перестань гонять лодку, не суйся в город». Так нет, ему, видишь ты, смерти захотелось! Таскался туда, ему там косу и отрезали! А какая коса-то была — черная, блестящая, как шелк! Вот и доигрался! На кого ты стал похож! буддист — не буддист, даос — не даос! Арестант! Сам виноват, сам и отвечай! Зачем только нас втянул в это? Дохлятина! Арестант!

Когда крестьяне заметили, что Чжао Ци-е пришел в деревню, они поторопились закончить ужин и собрались вокруг стола Ци-цзиня. Ци-цзинь чувствовал, как скверно все оборачивается — человека, известного в деревне, жена позорит перед всеми. Он поднял голову и, заикаясь, пробормотал:

— Ты сейчас говоришь верно, а раньше ты...

— Ах ты, дохлятина. Арестант!

Среди собравшихся зевак у вдовы Бао-и сердце было самое отзывчивое. Она стояла около жены Ци-цзиня и смотрела на всю эту кутерьму, держа на руках своего двухлетнего ребенка, родившегося после смерти отца. Она не могла остаться безучастной и заговорила примирительным тоном:

— Ну, тетушка Ци-цзинь, хватит. Ты сама рассуди! Люди ведь не боги. Кто же знал, что так случится? Ты и сама тогда говорила, что без косы не так уж страшно. Кроме того, почтенный начальник из ямыня еще ничего не объявлял.

У жены Ци-цзиня от гнева зарделись уши, она обернулась к Бао-и и, тыча палочками ей в нос, закричала:

— Ай-я! Это еще что за разговоры? Тетушка Бао-и, теперь я вижу, что ты за человек! Разве я могла говорить такие глупости? Да я тогда проплакала целых три дня. Все видели! Даже Лю-цзинь, этот маленький чертенок, и та плакала...

Лю-цзинь как раз в эту минуту доела большую чашку риса и, хныча, тянулась за добавкой. Жена Ци-цзиня, потеряв терпение, быстро зацепила палочками косички Лю-цзинь, дернула их вниз и завопила:

— Чего ты тут рот разеваешь? Потаскушка! Вдовушка! [1]

Пустая чашка выскользнула из рук Лю-цзинь, упала на землю и, ударившись о камень, раскололась. Ци-цзинь вскочил, схватил разбитую чашку, сложил черепки вместе и, крикнув: «Такая большая девчонка!» — дал Лю-цзинь затрещину. Она упала и заревела. Старуха Цзю-цзинь взяла ее за руку и, приговаривая: «С каждым поколением все хуже и хуже», — увела ребенка.

---

[1] Характерная черта китайских женщин, начиная ссору, адресовать брань другому лицу.

— Тетушка Ци-цзинь, ты своей злобой можешь убить человека! — гневно крикнула вдова.

Чжао Ци-е в самом начале перебранки, посмеиваясь, отошел в сторону. Но слова вдовы Бао-и о том, что почтенный начальник из ямыня «еще ничего не объявлял», привели его в ярость. Он подошел ближе и вмешался в разговор:

— Что значит «злобой убить человека»? Вот скоро придут императорские солдаты, и знайте, что на этот раз их ведет сам императорский телохранитель, генерал Чжан — потомок Чжан И-дэ из удела Янь! У него копье — как змея, длиной в один чжан[1] и восемь чи. Десять человек не могут сравниться с ним в храбрости. Кто может противостоять ему?!

Его скрюченные пальцы во время этой речи то сжимались, то разжимались в воздухе, как будто он брался за невидимое копье, похожее на змею. Шагнув к вдове Бао-и, он еще раз крикнул:

— Ты могла бы противостоять ему?!

Вдова так дрожала от злости, что ребенок в ее руках трепетал, но когда она увидела потное лицо Чжао Ци-е и его вытаращенные, уставившиеся на нее глаза, Бао-и очень испугалась. Ничего ему не ответив, она торопливо ушла. Чжао Ци-е удалился следом за ней. Толпа, удивленная вмешательством вдовы, безмолвно расступилась. Несколько человек с обрезанными косами, решившие их теперь отпускать, незаметно затерялись в толпе, опасаясь, что Чжао Ци-е заметит их, но он прошел мимо и только около деревьев повернулся и крикнул:

— Можете ли вы противостоять ему?!

Он взошел на дощатый мостик и быстро скрылся из вида.

Крестьяне стояли оторопев; покачивая головами, они молча прикидывали: в самом деле, кто сможет противостоять Чжан И-дэ, все равно теперь жизнь Ци-цзиня потеряна. Ци-цзинь — ослушник императорского закона. Они злорадно вспоминали, как недавно он с важным видом посасывал свою длинную трубку и рассказывал городские новости. Если уж ты нарушил императорский закон, так

---

[1] Чжан — 10 чи = 3,2 метра.

нечего важничать. Им хотелось еще потолковать, но рассуждать-то было не о чем.

Москиты, звеня и ударяясь о полуобнаженные тела людей, собирались под деревьями уцзю целыми роями. Постепенно все разошлись по домам и, закрыв двери, улеглись спать. Жена Ци-цзиня, продолжая ворчать, прибрала посуду, внесла в дом стол и скамейки, закрыла двери и тоже отправилась спать.

Ци-цзинь, с разбитой чашкой в руках, направился к дому и сел на пороге покурить. Он был так подавлен всем происшедшим, что даже забыл о своей длинной трубке из пятнистого бамбука, с мундштуком слоновой кости и чубуком из белой меди. Огонь в ней медленно погас. Ци-цзинь сознавал опасность своего положения и старался придумать какой-нибудь выход, но мысли его путались: «Коса! Как быть с косой?.. Копье как змея, в восемь чжанов длиной... С каждым поколением все хуже... Император вступил на престол дракона... Чашку надо склепать в городе... Кто устоит против него?.. В книгах все точно написано... Такая большая девчонка! Эх!..»

На следующий день, рано утром, Ци-цзинь, как обычно, толкал шестом пассажирскую джонку из Лучжэня в город. К вечеру он вернулся домой со своей длинной трубкой из пятнистого бамбука, с мундштуком из слоновой кости, с чубуком из белой меди и починенной чашкой для риса. За столом, во время ужина, он вскользь заметил старухе Цзю-цзинь:

— Чашку склепал в городе, пришлось сделать шестнадцать медных заклепок, по три фыня [1] каждая, — всего заплатил сорок восемь фыней.

Цзю-цзинь заворчала:

— С каждым поколением становится все хуже... Я достаточно пожила на свете... Но чтобы такие заклепки стоили по три фыня? Вот раньше были настоящие медные заклепки... Я прожила семьдесят девять лет...

Ци-цзинь попрежнему каждый день бывал в городе, но отношения его с семьей стали очень натянутыми; да и деревенские жители избегали его и не приходили послу-

---

[1] Фынь — одна сотая юаня, основной денежной единицы в Китае.

шать городские новости. Жена была в мрачном настроении и все чаще называла его «арестантом».

Дней через десять, вернувшись из города, Ци-цзинь нашел жену в необычно хорошем настроении. Она даже спросила его:

— Ну, что нового в городе?

— Ничего там нет нового.

— Император вступил на престол дракона или нет?

— Об этом не слышно ничего.

— А в винной лавке «Успех во всем» тоже ничего не говорят?

— И там об этом молчат.

— Я думаю, что император и не вступал на престол... Сегодня я проходила мимо лавки Чжао Ци-е и видела, что он попрежнему сидит за книгами, коса у него опять уложена на макушке, и он снял голубой халат.

— Так ты думаешь, что император так и не вступал на престол дракона?

— Думаю, что не вступал...

* * *

Теперь Ци-цзинь — человек, к которому и жена и все жители Лучжэня относятся с подобающим почтением. Летом он, как всегда, ужинает у дверей своего дома. Старухе Цзю-цзинь уже перевалило за восемьдесят, она здорова, но ворчит попрежнему. Две косички Лю-цзинь превратились в одну толстую косу, и хотя ей недавно забинтовали ноги, она помогает матери по хозяйству. И рисовая чашка с шестнадцатью медными заклепками еще жива, хотя слегка прихрамывает.

Октябрь 1922 г.





РОДНОЕ СЕЛО

В сильные морозы я возвращался в родное село, с которым расстался больше двадцати лет назад. Мне предстоял путь в две с лишним тысячи ли [1].

Стояла глубокая зима. Погода становилась все сумрачнее, уныло завывал холодный ветер, проникая в каюту джонки. В просветы бамбукового навеса было видно серожелтое небо и несколько пустынных деревушек, разбросанных по берегам, без малейшего признака жизни. Я смотрел на них, и мое сердце сжимала тоска.

Неужели это и есть мои родные места, память о которых я хранил двадцать лет?

Я представлял себе родное село совсем другим. Оно казалось мне гораздо лучше, но странно: когда я старался вспомнить его красоты или хотел о них рассказать, я ничего не находил в своей памяти, и мне нечего было сказать.

Здесь ничто не изменилось. Родные места все те же, и не так уж они печальны, как мне показалось. Изменилось только мое настроение — поездка домой не сулила мне ничего приятного.

Я возвращался в родное село лишь для того, чтобы навсегда с ним проститься. Мы продали чужой семье наш старый дом, в котором прожило столько поколений нашего рода. Срок передачи истекал в этом году, и надо было до

[1] Ли — мера длины, равная 576 метрам.

января покинуть родное жилище. Нашей семье предстояла далекая поездка на чужбину, где я служил.

На другой день, рано утром, я подошел к воротам родного дома. На ветру колыхались стебли засохшей травы, привязанной к гребню крыши, и всем своим запущенным видом дом, казалось, говорил, что пора ему сменить хозяев. Все родственники, жившие вместе с нами, уже уехали, и в доме было тихо. Только моя мать и восьмилетний племянник Хун-эр ожидали моего приезда.

Мать очень мне обрадовалась, но на лице ее была глубокая печаль. Она усадила меня и напоила чаем, не решаясь заговорить о переезде. Хун-эр издали внимательно на меня поглядывал — мы встретились с ним впервые.

Наконец мы заговорили о предстоящей поездке. Я рассказал, что уже снял квартиру в городе и купил кое-какую мебель. Придется здесь продать все тяжелые вещи, а там купить новые. Мать согласилась со мной — перевозить мебель, конечно, не было смысла; кое-что она уже продала, только вот деньги никак не могла собрать.

— Ты отдохни денек-другой, — сказала мать, — навестишь родню, а там уж и тронемся.

— Хорошо, — ответил я.

— Ты еще помнишь Жунь-ту? Он всегда спрашивает о тебе, когда приходит, очень хочет повидаться с тобой. Я ему написала, что ты должен приехать, и он, наверно, скоро придет.

Перед моими глазами промелькнула чудесная картина: золотое колесо полной луны на темносинем небе, песчаный берег моря и далеко-далеко, насколько хватает глаз, простирается изумрудное поле арбузов. Посреди поля — мальчишка с серебряным обручем на шее. В руках у него стальная рогатина; что есть силы он заносит ее над хорьком, а тот изворачивается и убегает, проскользнув у него между ног.

Этот мальчик — Жунь-ту. Я познакомился с ним лет тридцать назад, когда ему было не больше одиннадцати лет. Мой отец был еще жив, мы ни в чем не нуждались, и я рос баричем. В том году наша семья должна была совершить большое жертвоприношение предкам нашего рода. В каждой семье это событие происходит раз в тридцать лет, и церемония совершается очень торжественно. В первом месяце по лунному календарю перед таблицами

предков * ставят жертвенные дары — разнообразную еду в самой красивой посуде; молящихся собирается так много, что нужно остерегаться, как бы чего не стащили. У нас был только один сезонный батрак[1]. Ему трудно было управиться со всей работой, и отец разрешил ему привезти сына Жунь-ту стеречь жертвенную утварь. Я очень обрадовался. Я уже давно слышал про Жунь-ту и знал, что мы с ним сверстники. Он родился в високосный год, и из пяти стихий в его гороскопе нехватало земли, поэтому отец и прозвал его Жунь-ту[2]. Мальчик умел расставлять силки и ловить птичек.

Я с нетерпением ждал нового года — в этот день должен был приехать Жунь-ту. И вот, наконец, мать сказала мне, что Жунь-ту пришел. Я помчался на кухню.

У мальчика было круглое лицо цвета бронзы, на голове маленькая войлочная шапочка, а на шее — блестящий серебряный обруч. Видно, отец очень любил его и, боясь, чтобы сын не умер, дал обет Будде и закрепил его обручем. Жунь-ту стеснялся всех, кроме меня. Оставшись вдвоем, мы разговорились, и не прошло полдня, как стали друзьями.

Я забыл, о чем мы тогда болтали. Помню только, что Жунь-ту был очень весел и рассказывал о своей поездке в город, где он увидел много диковинок.

На другой день я попросил его пойти ловить птиц.

— Сейчас нельзя, — ответил он. — Ловить можно только, когда выпадет большой снег. Дома я расчищаю площадку на песчаной земле, ставлю большую бамбуковую корзину, подпираю ее колышком и рассыпаю под ней мякину, а сам издали слежу, как прилетают птицы. Когда они начинают клевать, я дергаю за веревочку, привязанную к колышку, и корзина их накрывает. Попадаются всякие: хохлатки, горлицы, синицы.

Мне хотелось, чтобы сейчас же выпал большой снег. Жунь-ту продолжал рассказывать:

---

[1] У нас батраки бывают трех категорий: постоянные, работающие круглый год; поденные и сезонные — крестьяне-бедняки, приходящие помогать по праздникам или во время уборки урожая. *(Примеч. автора.)*

[2] Согласно древней китайской астрологии в природе существует пять стихий: металл, дерево, вода, огонь, земля. Ж у н ь — високосный год, т у — земля.

— Теперь слишком холодно, ты приезжай к нам летом. Днем мы собираем раковины на берегу моря, — красные, зеленые, разных цветов. Есть такие, которых чорт боится, а иногда попадается раковина — рука богини милосердия Гуань-инь; по ночам мы с отцом ходим стеречь арбузы, и ты пойдешь с нами.

— Стеречь от разбойников?

— Нет. Если какой прохожий и сорвет арбуз, чтобы утолить жажду, мы его за вора не считаем. Арбузы надо охранять от зверей: от барсука, от ежа, от ча. Когда светит луна, часто слышится чавканье — ча-ча, — это ча ест арбузы. Берешь рогатину и тихонько подкрадываешься...

Я не знал тогда, что это за зверь такой — ча, да и сейчас не знаю. В то время мне почему-то казалось, что он похож на собачонку и очень злой.

— А он не кусается?

— ...Подкрадываешься с рогатиной... как завидишь его, так и коли! Но ча умный, он бросается прямо на тебя и проскальзывает между ног. Шерсть у него скользкая, словно намасленная.

Я никогда и не думал, что на свете так много интересных вещей: разноцветные раковины на берегу моря и такие опасные приключения на арбузном поле. Об арбузах я знал только, что их продают в фруктовых лавках.

— ...У нас, во время прилива, на песке прыгает тьма летающих рыбок, ножки у них вроде лягушечьих.

Ах, как много знал Жунь-ту удивительных вещей, о которых я и мои товарищи понятия не имели! Жунь-ту жил на берегу моря, а мы жили в четырех стенах двора и видели лишь небольшой квадрат неба.

К сожалению, новогодние праздники прошли, и Жунь-ту должен был вернуться домой. Я громко плакал от горя, Жунь-ту спрятался на кухне и тоже плакал: он не хотел от нас уходить. В конце концов отец увел его.

Потом Жунь-ту присылал мне из дому с отцом разноцветные раковины и красивые птичьи перья. Я тоже раз или два посылал ему подарки, но с тех пор мы больше не виделись...

Все эти воспоминания, как молния, промелькнули в моей голове, когда мать заговорила о Жунь-ту. Вот оно, мое родное село! Именно в этих воспоминаниях — вся прелесть родных мест.

— Хорошо, что он придет. А как ему живется?

— Ему? О, жизнь у него очень тяжелая, — сказала мать и выглянула в окошко. — Опять идут... Говорят, что хотят купить вещи, а сами тащат, что попадет под руку. Надо пойти посмотреть.

Мать поднялась и вышла. За дверью послышались женские голоса. Я подозвал Хун-эра и стал его расспрашивать, умеет ли он читать, хочет ли отсюда уехать.

— Мы поедем в поезде?

— В поезде.

— А на джонке?

— Сначала на джонке.

— Ха! Вот он какой. И усы какие длинные! — вдруг раздался чей-то странный, пронзительный голос.

Вздрогнув от неожиданности, я поднял голову и увидел широкие выдающиеся скулы и тонкие губы. Передо мной стояла женщина лет пятидесяти, упершись руками в бока; ее тонкие ноги в синих штанах были похожи на раздвинутый циркуль.

Я оторопел.

— Не узнаешь? А ведь я носила тебя на руках.

Я еще больше растерялся. К счастью, вошла мать и вмешалась в наш разговор.

— Он ведь давно здесь не был и все забыл. А ты должен бы помнить, — обратилась она ко мне. — Это наша соседка — Ян Эр-сао, она живет наискосок и продает доуфу [1].

Я вспомнил. Я был тогда еще ребенком. В лавке, где продавали доуфу, целыми днями сидела Ян Эр-сао. Ее все звали «творожная красавица». У нее было набеленное лицо, скулы на нем тогда не выдавались так сильно, губы не были так тонки... Она всегда сидела, и я не замечал, что ноги ее похожи на циркуль.

В то время все говорили, что только благодаря ей торговля в лавке идет хорошо. Но я был еще очень мал, и она не производила на меня никакого впечатления, поэтому я и забыл о ней. «Циркуль» была явно недовольна мною и смотрела на меня презрительно; так смотрят на француза, не знающего о Наполеоне, или на американца, не

---

[1] Доуфу — сыр из соевых бобов.

слышавшего о Вашингтоне. Холодно улыбнувшись, она сказала:

— Забыл?.. Да, глаза знатных высоко глядят...

— Да нет же... — я растерянно приподнялся.

— Вот что я тебе скажу, брат Синь. Ты разбогател, перевозить вещи тяжело, да и к чему тебе это старье. Оставь мне — нам, бедным людям, все пригодится.

— Я вовсе не разбогател и должен все продать, прежде чем уеду.

— Ай-я! Ты поставлен начальником округа, а говоришь, что не разбогател. У тебя теперь три жены, паланкин с восемью носильщиками, а все не богат! Хе! Меня не проведешь.

Я понял, что возражать ей нет смысла, и стоял, не раскрывая рта.

— Ай-я! Ай-я! Вот уж правду говорят: чем больше у человека денег, тем меньше он хочет упустить, а чем меньше он упускает, тем больше у него денег.

«Циркуль» сердито повернулась и, продолжая тараторить, направилась к выходу; мимоходом она заткнула за пояс перчатки моей матери.

Потом стали приходить жившие неподалеку родственники и свойственники. Я с трудом урывал свободную минуту, чтобы уложить вещи. Так прошло три-четыре дня.

В холодный день после обеда я пил чай; вдруг мне послышались чьи-то шаги под окном. Я выглянул и поспешил навстречу гостю.

Пришел Жунь-ту. Я узнал его с первого взгляда, хотя он был совсем не похож на прежнего Жунь-ту, каким он остался в моей памяти. Он стал вдвое выше, круглое бронзовое лицо стало серовато-желтым и покрылось глубокими морщинами; глаза, как и у его отца, покраснели и припухли. Правда, почти у всех крестьян, живущих на берегу моря, бывают такие лица от постоянных морских ветров. На голове у Жунь-ту была потрепанная войлочная шапка, одет он был в тонкую ватную куртку и ежился от холода; в руках он держал бумажный сверток и длинную трубку. Когда-то эти руки были гладкие и крепкие, а теперь огрубели и потрескались, как кора на сосне.

Я очень обрадовался Жунь-ту, но не знал, с чего начать разговор.

— А, брат Жунь-ту, ты пришел...

В голове у меня вертелось много слов: хохлатки, летающие рыбки, раковины, ча... Мне казалось — вот сейчас эти слова посыплются одно за другим, как рассыпается нить жемчуга, но что-то неуловимое мешало мне говорить.

Жунь-ту стоял передо мной, в его лице были радость и печаль. Он шевелил губами, но ничего не говорил. Наконец он принял почтительную позу и отчетливо произнес:

— Господин...

Я почувствовал, как меня охватила холодная дрожь. Теперь я знал, что нас разделила высокая стена, и печально молчал.

Обернувшись, он кому-то сказал:

— Шуй-шэн, поклонись господину, — и подтолкнул прятавшегося за его спиной ребенка. Это был тот же Жунь-ту, которого я знал двадцать лет назад, но только лицо у него было чуть желтее и худее, и на шее не было серебряного обруча.

— Это мой пятый ребенок... Он еще нигде не бывал, стесняется...

Мать и Хун-эр спустились вниз, очевидно услышав наши голоса.

— Госпожа, я давно получил письмо и очень обрадовался, что господин возвращается, — сказал Жунь-ту.

— Чего это ты так церемонишься? — весело спросила мать. — Ведь раньше вы называли друг друга братьями. Надо попрежнему: брат Синь...

— Ай-я, что ты, госпожа!.. Разве так будет прилично? Тогда мы были детьми, ничего не понимали.

Жунь-ту опять приказал Шуй-шэну поклониться, но тот смущенно прятался за спиной отца.

— Это Шуй-шэн? Пятый? Он стесняется. Ничего нет удивительного, здесь все незнакомые. Пусть они с Хун-эром пойдут погулять, — сказала мать.

Хун-эр позвал Шуй-шэна, и тот, вздохнув с облегчением, весело пошел за ним. Мать предложила Жунь-ту сесть. Он нерешительно опустился на стул и, прислонив к столу свою длинную трубку, протянул мне бумажный сверток.

— Тут немного зеленого горошка. Сами сушили. Прошу тебя, господин. Зимой больше ничего нет.

Я спросил, как ему живется. Он покачал головой.

— Тяжело. Старший сын уже подрос и помогает, а на еду все нехватает... И вообще неспокойно... Всюду нужны деньги... порядков нет, урожай плохой... Соберешь кое-что, понесешь продавать, а тут налог за налогом, и продаешь себе в убыток. А если не продать, так погниет.

Он опять покачал головой. Его лицо, изрезанное морщинами, казалось совсем неподвижным, как бы высеченным из камня. Видно, он испытал много горя, но не умел высказать всего; помолчав, Жунь-ту взял свою длинную трубку и закурил.

Из того, что он отвечал моей матери, я понял, что дома у него много дела и завтра ему надо обязательно вернуться. Узнав, что Жунь-ту не обедал, мать велела ему пойти на кухню и разогреть себе еду.

Он вышел. Мы с матерью погоревали о его участи: большая семья, голод, кабальные налоги, солдаты, бандиты, чиновники. Бедняга высох, как деревянная статуя. Мать предложила подарить ему все, что мы не сможем взять с собой, — пусть сам выберет, что ему надо.

Вечером Жунь-ту отобрал себе несколько вещей: два длинных стола, четыре стула, курильницу, подсвечник, безмен. Он хотел еще взять всю золу от соломы (топливом у нас служила рисовая солома), она была ему нужна для удобрения песчаной земли. Мы уговорились, что к нашему отъезду он приедет и погрузит все это на джонку.

Вечером мы долго беседовали, но не касались ничего серьезного. На другое утро Жунь-ту взял с собой Шуй-шэна и ушел.

Прошло еще девять дней, и, наконец, наступил день нашего отъезда. Жунь-ту приехал с утра, но, вместо Шуй-шэна, он привез с собой пятилетнюю дочку, чтобы она покараулила лодку. Весь день мы провели в хлопотах, и поговорить нам больше не удалось. Гостей собралось немало: кто пришел провожать, кто за вещами, а кто — за тем и за другим. К вечеру, когда мы садились в джонку, из нашего дома все дочиста вынесли — ничего не осталось, ни больших, ни маленьких, ни старых, ни даже сломанных вещей.

Наша джонка шла вперед, и горы по берегам, темносиние в вечерних сумерках, медленно уплывали от нас.

Стоя у окна джонки, мы с Хун-эром любовались мрачной красотой природы. Вдруг Хун-эр спросил:

— Дядя, а когда же мы вернемся?

— Вернемся? Не успел уехать, а уже думаешь о возвращении.

— Шуй-шэн звал меня к себе играть. — Хун-эр задумался, широко раскрыв большие черные глаза.

Я и мать тоже загрустили, мы вспомнили Жунь-ту. Мать рассказала мне, что «творожная красавица» Ян Эр-сао, которая приходила к нам каждый день с тех пор, как мы начали собираться в путь, на-днях нашла в куче золы десяток чашек и тарелок. Посудачив об этом, она решила, что это дело рук Жунь-ту. Приехав за золой, он мог бы увезти и посуду. Ян Эр-сао сочла, что оказала нам большую услугу, и, прихватив с собой кормушку «собакам назло» [1], быстро убежала, если только можно бегать в туфлях на таких толстых подошвах, специально сделанных для того, чтобы ее ноги казались маленькими.

Все дальше и дальше отплывал я от своего старого дома, вдаль уходили от меня родные места, но я не жалел, что расстаюсь с ними.

Мне казалось, что невидимые стены окружают меня со всех сторон и отделяют от мира; мне стало тоскливо. Фигурка маленького героя арбузных полей с серебряным обручем на шее, прежде такая отчетливая, теперь потускнела, и это причиняло мне боль.

Мать и Хун-эр уснули.

Я лежал и, прислушиваясь к журчанию воды, думал о том, что я в жизни иду своим путем.

«Наши дороги с Жунь-ту далеко разошлись, — сказал я себе, — но дети еще близки друг другу. Разве Хун-эр не думает сейчас о Шуй-шэне? Я верю, что их не разделит высокая стена и что им не придется жить ни в таких мучительных скитаниях, как живу я, ни в таком тяжелом отупении, как живет Жунь-ту; и не будет у них такой горькой злобы в душе, как у других. Они должны жить новой жизнью, какой мы не знали...»

Мне вдруг стало страшно. Когда Жунь-ту попросил курильницу и подсвечник, я внутренне посмеялся над тем, что он все еще поклоняется идолам. А разве то, что я на-

---

[1] Деревянный таз с решетчатой крышкой, приспособленной для того, чтобы собаки не съедали куриный корм.

зываю мечтой, — не идол, созданный мною? Только мечты Жунь-ту — в завтрашнем дне, а мои — в туманном будущем...

Сквозь дремоту я видел изумрудный берег и золотую луну на темносинем своде и думал: «Мечта — это не то, что уже существует, и не то, чего не может быть. Как на земле: дороги нет, а пройдут много людей — и проложат дорогу».

Январь 1921 г.





ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ А-КЬЮ

I

Введение

Вот уже год или два, как я собираюсь написать подлинную историю А-Кью, но все колеблюсь: одно уж это доказывает, что я не из числа тех, кто «оставляет поучение в слове» *. Всегда так бывает: кисти бессмертных пишут о бессмертных; люди становятся бессмертными благодаря бессмертным произведениям; произведения становятся бессмертными благодаря бессмертным людям. Постепенно перестало быть ясным, что же от чего зависит. И вот, наконец, я пишу биографию А-Кью, словно какой-то дьявол сидит во мне и заставляет меня это делать.

Однако едва я решил написать это недолговечное сочинение и взялся за кисть, как передо мной сразу же возникли непреодолимые затруднения.

— Первое — как назвать мое сочинение. Еще Конфуций сказал: «Если название неправильно, то и слова не повинуются». На это следует обратить особое внимание. Заглавий для подобных исторических трудов очень много: биография, автобиография, неофициальная биография, официальная биография, частная биография... Жаль только, что все они не подходят для моего сочинения.

Биография? Но мое сочинение не предназначено для того, чтобы его ставить наравне с биографиями великих людей, и оно не войдет в историю. Автобиография? Но ведь я не А-Кью. «Неофициальная биография», «офи-

циальная биография» — а что это, в сущности, такое? Если же все-таки озаглавить его «официальная биография», так ведь они пишутся о святых, а А-Кью вовсе не святой. Просто «биография»? Но А-Кью никогда не удостаивался правительственной награды в виде указа президента республики, предписывающего историографической комиссии составить его «официальную биографию».

Хотя и утверждают, что в исторических анналах Англии нет биографий игроков, но знаменитый писатель Диккенс все же написал биографию игрока. Однако то, что разрешается прославленному писателю, совершенно непозволительно такому, как я.

Затем идет «семейная хроника». Но я не знаю, есть ли у меня с А-Кью общие предки, а его потомки никогда не просили меня написать его биографию.

Быть может, озаглавить мое сочинение «сокращенная биография»? Так ведь у А-Кью не было другой, «полной биографии». В конце концов это будет скорее «личная биография». Но из-за ее содержания и грубости моего стиля и языка, как у «возчиков и уличных продавцов» *, я не осмеливаюсь назвать свое сочинение даже так.

Писатели, не принадлежащие ни к трем религиозным школам, ни к девяти философским течениям *, обычно пишут: «Довольно праздных слов, перейдем к подлинной истории!» И вот я решил взять из их любимой фразы два слова: «Подлинная история» — и сделать их заглавием моего сочинения. Если же его можно спутать с теми заглавиями, которые в древности присваивались сочинениям других жанров, например: «Подлинная история каллиграфического искусства», — то здесь уж ничего не поделаешь.

Второе затруднение состояло в том, что по традиции каждая биография должна начинаться словами: «Такой-то, по прозвищу такой-то, родом оттуда-то...» А я не знал даже фамилии А-Кью!

Однажды я подумал было, что его фамилия Чжао, но уже на следующий день это мне показалось сомнительным. Дело было так: сын почтенного Чжао добился, наконец, ученой степени сюцая *, и об этом, под удары гонгов, официально оповестили всю деревню; А-Кью, который только что влил в себя две чашки желтого вина, размахивая руками, заявил, что это — и для него почет, так как он в сущности принадлежит к одной фамилии с почтен-

ным Чжао, и если тщательнее разобраться в родстве, так он на три степени старше, чем сюцай. При этом заявлении присутствующие сразу же почувствовали уважение к А-Кью. Ведь никто не знал, что на следующий день староста деревни позовет А-Кью в дом почтенного Чжао и что почтенный Чжао, едва увидев его, покраснеет и закричит:

— А-Кью, тварь ты этакая!.. Ты хвастал, что принадлежишь к нашей фамилии?

А-Кью молчал.

Глядя на него, почтенный Чжао совсем разъярился, подскочил к нему и заорал:

— Как ты смеешь нести такой вздор? Как это я могу быть из одного рода с таким, как ты? Разве твоя фамилия Чжао?

А-Кью продолжал молчать, подумывая, как бы улизнуть, но тут почтенный Чжао приблизился к нему еще на шаг и дал пощечину.

— Воображает, что он из рода Чжао! Да разве ты достоин такой фамилии?..

А-Кью, не пытаясь доказать, что его фамилия действительно Чжао, только потирал щеку. Наконец в сопровождении старосты А-Кью выбрался на улицу. Тут он получил от старосты должное внушение и отблагодарил его двумя стами вэней на вино.

Узнав об этом происшествии, вэйчжуанцы решили, что взбалмошный А-Кью сам напросился на пощечину, что вряд ли его фамилия Чжао; но если даже и так — все равно глупо болтать об этом, раз уж в деревне есть почтенный Чжао. После этого случая никто не потрудился выяснить фамилию А-Кью. Она так и осталась неизвестной.

Третье затруднение — я не знал, как пишется его имя. При жизни все звали его А-гуй, а после смерти вообще перестали упоминать его имя. Где уж тут быть «древним записям на бамбуке и шелке»! [1]

Я первый взялся писать сочинение об А-Кью, и потому естественно, что сразу же передо мной возникло означенное затруднение.

Я долго обдумывал, как пишется это самое А-Кью: че-

---

[1] Геральдические книги с иероглифами, выгравированными на бамбуке или написанными тушью на шелке.

рез иероглиф «гуй», обозначающий «лунный цветок» *, или через «гуй», обозначающий «благородство»?

Если бы его звали Юэ-тин — «лунный павильон», или если бы он родился в августе, когда цветет «лунное дерево», я, конечно, написал бы иероглиф «гуй» в значении «лунный цветок». Но ведь у него не было даже прозвища (а, может быть, и было, но никто его не знал). Неизвестно было также, когда день его рожденья, так как писателям никогда не рассылались извещения с просьбой сочинить что-нибудь в честь этого дня; так что писать А-Кью иероглифом «гуй» в значении «лунный цветок» было бы совершенно произвольно.

Вот если бы у него был старший или младший брат по прозвищу А-фу — «богатство», тогда по аналогии можно было бы написать его имя иероглифом «гуй», означающим «благородство». Но он был одинок и, значит, писать так тоже нет оснований.

Другие иероглифы на звук «гуй» еще менее обоснованы.

Как-то я заговорил об этом с нашим сюцаем, сыном почтенного Чжао. Но кто бы мог подумать, что такой высокоученый человек тоже окажется несведущим?

Правда, он заметил, что исследовать интересующий меня вопрос невозможно вследствие того, что журнал «Новая молодежь» * стал некоторые слова писать иностранными буквами, и от этого самобытность нашей культуры погибла.

Тогда я поручил одному из моих земляков исследовать судебные документы, связанные с делом А-Кью. Восемь месяцев спустя он сообщил мне, что в этих документах не упоминается человек с именем, которое звучало бы как «А-гуй».

Не знаю, действительно ли там нет такого имени, или же он не сумел найти его, — во всяком случае, у меня нет других способов узнать об этом.

Мне очень совестно, но если даже наш сюцай не знает, какой нужно писать иероглиф, то чего же можно требовать от меня?

Боюсь, что китайский фонетический алфавит [1] у нас еще не стал популярным, поэтому мне приходится прибег-

---

[1] Фонетический алфавит (чжуинь цзыму) появился в Китае около сорока лет тому назад. Он служит для транскрибированного чтения иероглифов.

нуть к иностранному алфавиту: я напишу это имя по-английски A-Q — А-Кью. Это безусловно выглядит как слепое подражание журналу «Новая молодежь», я сам об этом сожалею, но если даже наш сюцай несведущ, то какой же выход у меня? Мне остается только просить прощения.

Четвертое затруднение — вопрос о родине А-Кью.

Если бы его фамилия была Чжао, то на основании обычая согласовывать фамилии с названиями провинций, можно было бы справиться по фамильным записям в провинциях, где говорится, например: «Лун Си, родом из Тянь-шуя». К сожалению, фамилия А-Кью точно не известна, поэтому и нельзя выяснить, где его родина. Он почти всегда жил в деревне Вэйчжуан, но часто бывал и в других местах, так что вэйчжуанцем его назвать нельзя. Если же написать «родом из Вэйчжуана» — это будет противоречить точному историческому методу.

Меня утешает только то обстоятельство, что по крайней мере приставка «А» [1] вполне достоверна. В ней нет никакой ошибки, и на нее вполне можно положиться. Что же касается всех остальных затруднений, то, обладая столь неглубокой эрудицией, как моя, справиться с ними невозможно. Остается лишь одна надежда, что «любители истории и археологии», подобные ученикам господина Ху Ши *, смогут, пожалуй, открыть много новых данных по этому вопросу, но к тому времени, боюсь, моя «Подлинная история А-Кью» будет предана забвению.

Все вышесказанное можно считать введением.

II

Вкратце о блестящих победах

Не только фамилия и место рождения А-Кью, но даже и его прошлые «деяния» были туманны. Жители деревни Вэйчжуан требовали от него только поденной работы да насмехались над ним; его «деяниями» же никто никогда не интересовался. Сам А-Кью никогда о них не рассказывал; только поругавшись с кем-нибудь, он таращил глаза и орал:

---

[1] Приставка «А» перед именем употребляется для благозвучия.

— Мои предки намного знатнее твоих! А ты что такое?

У А-Кью не было семьи; жил он в храме Земледелия *. У него не было определенной профессии, и он был простым поденщиком. Нужно было жать пшеницу — он жал; нужно было обдирать рис — обдирал; нужно было грести — греб. Если работа затягивалась, он временно жил в доме нанимателя, но, закончив свое дело, сразу же уходил.

Поэтому во время страды, когда А-Кью был нужен, о нем вспоминали, — вернее, вспоминали о его руках, способных выполнять ту или иную работу, а после страды о нем быстро забывали. Какие же тут могли быть разговоры о «деяниях»? Никто о них и не думал.

Только однажды какой-то старик, глядя на А-Кью, обнаженного по пояс, тощего и усталого, одобрительно заметил: «А-Кью настоящий мастер». Никто не мог понять, серьезно это было сказано или в насмешку, но А-Кью был доволен.

И А-Кью был очень высокого мнения о себе, а всех остальных жителей Вэйчжуана ни во что не ставил. Особенно — двух местных грамотеев; по его мнению, над ними даже смеяться не стоило. Эти грамотеи в будущем могли, пожалуй, стать сюцаями. Один из них был сыном почтенного Чжао, другой — сыном почтенного Цяня; и Чжао и Цянь пользовались уважением односельчан не только за свое богатство, но и потому, что у них были такие ученые сыновья. Один лишь А-Кью не выказывал грамотеям особого уважения и думал про себя: «Мой сын мог бы быть познатнее их».

А-Кью несколько раз бывал в городе и от этого еще больше вырос в собственных глазах. Однако горожан он презирал за их чудачества. Деревянное сиденье в три чи длиной и три цуня шириной вэйчжуанцы называли просто «скамьей», и А-Кью называл это так же, а горожане говорили «лавка», — и он думал: «Неправильно говорят... вот чудаки!» Рыбью голову, поджаренную в масле, вэйчжуанцы приправляли зеленым луком в полцуня длиной, а горожане приправляли рыбу мелко нарезанным луком, и А-Кью опять думал: «Неправильно делают... вот чудаки!» Но вэйчжуанцы в его глазах были совсем уж неотесанной деревенщиной, не знающей света, они ведь даже не видели, как в городе жарят рыбу!

А-Кью с его «именитыми предками», высокими знаниями, да притом еще «настоящий мастер», в сущности был почти «совершенным человеком». К сожалению, у него были кое-какие физические недостатки. Особенно неприятны были плешины, — след неизвестно когда появившихся лишаев. Хотя плешины и были его собственные, но они, по его мнению, ничего не прибавляли к его достоинствам. Поэтому он запрещал произносить в своем присутствии слово «плешь» и другие слова, которые могли быть неприятным намеком. Постепенно он увеличил число запрещенных слов: запретными стали «свет» и «блеск», а потом даже «лампа» и «свечка». Когда это запрещение умышленно или случайно нарушали, А-Кью приходил в ярость, краснел до самой плеши и, смотря по тому, кто был его оскорбителем, либо ругал его, либо, если тот был слабее, избивал. Впрочем, почему-то избитым в конце концов оказывался сам А-Кью. Поэтому он постепенно изменил свою тактику и стал разить своих противников только гневными взглядами.

Кто бы мог подумать, что его гневные взгляды будут лишь вызывать смех у вэйчжуанских бездельников?

— Хэ! Смотрите, свет появился! — в притворном изумлении восклицали они, завидев А-Кью.

А-Кью приходил в ярость и окидывал их гневным взглядом.

— Да ведь это же карманный фонарь, — продолжали они бесстрашно.

— А ты недостоин и такой... — презрительно отвечал А-Кью, словно у него была не простая, а какая-то необыкновенная, благородная плешь.

Выше уже упоминалось, что А-Кью был чрезвычайно мудр: он мгновенно соображал, что если он произнесет слово «плешь», то этим сам нарушит свой запрет, и потому он не заканчивал фразы.

Но бездельники не унимались, они продолжали задирать его и под конец доводили дело до драки. Со стороны могло показаться, что А-Кью терпит поражение: противники, ухватив его за тусклую косу и стукнув несколько раз головой о стенку, уходили, довольные собой. А-Кью стоял еще с минуту, размышляя: «Будем считать, что меня побил мой недостойный сын... * Что за скверные времена

настали!» — и, преисполненный сознанием одержанной победы, он с достоинством удалялся.

Все, что А-Кью думал, он в конце концов выбалтывал. Поэтому бездельники, дразнившие его, очень скоро узнали о его «победах». С этого времени, дергая его за косу, они внушали ему:

— Это не сын бьет отца, а человек скотину. Повтори-ка, «человек бьет скотину».

А-Кью, ухватившись обеими руками за свою косу у самых корней волос, говорил:

— По-твоему, хорошо бить козявку? А ведь я — козявка. Ну что, теперь отпустишь?

Хотя он и признавал себя козявкой, бездельники не сразу отпускали его, а норовили на прощанье еще раз стукнуть головой обо что попало. После этого они уходили, довольные победой, полагая, что, наконец-то, оставляют А-Кью посрамленным. Но не проходило и десяти секунд, как он снова преисполнялся сознанием, что победа осталась за ним. В душе считая себя первым среди униженных, он даже мысленно не произносил слово «униженный» — и таким образом оказывался просто «первым».

— Разве чжуанюань * — не первый среди лучших? А вы что такое? — кричал он вдогонку своим обидчикам.

Одержав таким великолепным способом новую победу над ненавистными врагами, А-Кью на радостях спешил в винную лавку; там он проглатывал несколько чашек вина, шутил, ругался (после чего ему приходилось одерживать еще одну победу) и, наконец, навеселе возвращался в храм Земледелия и погружался в сон.

Когда у А-Кью появлялись деньги, он немедленно отправлялся играть в кости. Игроки тесным кружком сидели на корточках на земле; А-Кью, весь потный, протискивался в середину. Голос его бывал особенно пронзителен, когда он кричал:

— На «Зеленого дракона» четыреста чохов! Хэ!.. Ну, открывай!

Сдающий, такой же разгоряченный, открывал ящик с костями и возглашал:

— «Небесные ворота» и «углы»! «Человек» и «сквозняк». Ну-ка, А-Кью, выкладывай свои деньги!

— Ставлю на «сквозняк» сто!.. Нет, сто пятьдесят! — кричал А-Кью.

И под эти возгласы его деньги постепенно переходили за пояса других, таких же азартных игроков, у которых от волнения лица покрывались потом. А-Кью оттесняли, и, стоя позади и волнуясь за других, он смотрел на игру, пока все не расходились. Тогда и он неохотно возвращался в храм, а на следующий день с заспанными глазами отправлялся на работу.

Правильно говорит пословица: «Старик потерял лошадь, но как знать — может быть, это к счастью» *. Однажды А-Кью выиграл, но это не принесло ему счастья.

Это случилось вечером, в праздник местного божества. По обычаю, в этот вечер в деревне были построены театральные подмостки, а рядом с ними, тоже по обычаю, расставлены игральные столы. Но гонги и барабаны, гремевшие в театре, доносились до А-Кью словно издалека: он слышал только выкрики банкомета. Он все выигрывал и выигрывал. Медяки превращались в серебряную мелочь, серебро — в юани, и вскоре перед ним выросла целая куча денег. Радость А-Кью была необычайна, в азарте он крикнул:

— Два юаня на «Небесные ворота»!

Он не понял, кто с кем и из-за чего затеял драку. Ругань, удары, топот ног — все смешалось у него в голове, а когда он очнулся, вокруг не было ни столов, ни людей; во всем теле он чувствовал боль, точно его долго топтали ногами. У него было смутное ощущение какой-то потери, и он медленно побрел в храм. Только там он окончательно пришел в себя и вспомнил, что куча юаней исчезла. Собравшиеся на праздник игроки почти все были нездешними. Где уж там было их искать!..

Светлая, блестящая куча денег, его собственных денег, безвозвратно исчезла! Сказать, что ее украл недостойный сын, — это не утешение; сказать, что сам он, А-Кью, козявка, — столь же малое утешение... На этот раз А-Кью почувствовал горечь поражения.

Но ненадолго. Поражение снова превратилось в победу: правой рукой А-Кью дал себе две пощечины, лицо его запылало, и в душе воцарилось спокойствие, точно в себе он избил кого-то другого, и этот «другой», отделившись от него, стал просто чужим человеком. Лицо А-Кью все еще горело, но, удовлетворенный своей победой, он спокойно улегся и заснул.

III

Продолжение списка блестящих побед

Хотя А-Кью постоянно одерживал победы, все вэйчжуанцы узнали об этом лишь после того, как он получил пощечину от почтенного Чжао.

Отсчитав старосте двести вэней на вино, А-Кью улегся спать сердитый, но тотчас же успокоил себя, подумав: «Что за скверные времена настали, мальчишки бьют стариков...» Он подумал о внушающей страх репутации почтенного Чжао и мгновенно представил его своим «недостойным сыном». Этого было достаточно, чтобы к А-Кью вернулось хорошее настроение. Утром он встал веселый и, напевая «Молодая вдова на могиле» [1], отправился в винную лавку; но по дороге он почему-то подумал, что почтенный Чжао все же стоит ступенькой выше других людей.

Странное дело, с тех пор, как А-Кью получил от почтенного Чжао пощечину, вэйчжуанцы почувствовали к нему особое уважение. Сам А-Кью объяснял это тем, что он стал как бы отцом почтенного Чжао. На самом деле причина была иная.

В Вэйчжуане никогда не считалось событием, если А-седьмой колотил А-восьмого или Ли-четвертый бил Чжана-третьего, и только когда дело касалось таких именитых особ, как почтенный Чжао, о драке говорила вся деревня. Тогда благодаря известности бившего и побитый приобщался к славе.

Вряд ли нужно говорить, что виноватым был А-Кью. Почему? Да просто потому, что почтенный Чжао не мог быть ни в чем виноват. Но если виноват А-Кью, то почему же все стали оказывать ему особое уважение? Объяснить это трудно. Может быть, потому, что он заявил о своей принадлежности к фамилии Чжао. Хотя его за это и побили, но все же у всех осталось сомнение: а вдруг в его словах есть доля правды? Лучше уж, на всякий случай, оказывать ему некоторое почтение. А может быть, с А-Кью случилось то же, что с жертвенной коровой в храме Конфуция: после того как священномудрый прикоснулся к ней

---

[1] Песенка из популярной китайской пьесы.

своими обеденными палочками, никто из конфуцианцев не смеет больше дотрагиваться до нее, хотя эта корова — такое же животное, как и простые свиньи и бараны.

После того как почтенный Чжао дал ему пощечину, А-Кью наслаждался своей победой много лет.

И наступил такой год, когда в ясный весенний день А-Кью, совершенно пьяный, шел по улице и на солнечной стороне около стены увидел Бородатого Вана. Тот сидел обнаженный по пояс и ловил вшей. В ту же минуту и А-Кью почувствовал зуд во всем теле. Ван был плешив и бородат, и все называли его Плешивый и Бородатый Ван. А-Кью, как известно, не произносил слово «плешивый» и в то же время глубоко презирал Бородатого Вана. С точки зрения А-Кью плешь Вана не вызывала никакого удивления, а вот его большая борода — это вещь невероятная, поразительная и совершенно нетерпимая для человеческого глаза. А-Кью сел рядом с Ваном. Будь это какой-нибудь другой бездельник, А-Кью не решился бы так свободно подсесть к нему. Но Бородатый Ван! — чего тут опасаться? В сущности то, что А-Кью присел рядом, только делало Вану честь.

А-Кью тоже снял куртку и принялся осматривать ее, но потому ли, что она была свежевыстиранная, или потому, что А-Кью был невнимателен, он выловил всего три-четыре вши, а Бородатый Ван так и хватал одну за другой.

Сначала А-Кью почувствовал разочарование, а потом рассердился. У Вана с его нестерпимой для человеческого глаза бородой — так много вшей, а у него так мало! Что за неприличное положение. Ему очень хотелось найти две больших, но нашлась только одна и то среднего размера. Он со злостью раздавил ее, раздался треск, но не такой громкий, как у Бородатого Вана!

Вся плешь А-Кью покраснела, он швырнул куртку на землю, сплюнул и сказал:

— Волосатый червяк!

— Плешивая собака! Ты кого это ругаешь? — презрительно отозвался Ван.

Хотя в последнее время вэйчжуанцы относились к А-Кью довольно почтительно, — поэтому он и был полон высокомерия, — все же он побаивался постоянно нападав-

ших на него бездельников. Но на этот раз он стал необычайно храбрым. Что еще смеет болтать эта заросшая волосами тварь?

— Кто откликается, того и ругаю! — Он поднялся и подбоченился.

— Что, у тебя кости чешутся? — спросил Бородатый Ван, тоже вставая и надевая рубашку.

Вообразив, что Ван хочет убежать, А-Кью замахнулся и бросился на него; но не успел еще он опустить кулак, как Ван схватил его за руку, рванул к себе, и А-Кью чуть не упал. В ту же минуту Бородатый Ван ухватил его за косу и потащил, по заведенному порядку, стукнуть головой об стенку.

— Благородный муж рассуждает ртом, а не руками, — повернув голову, сказал А-Кью, но Бородатый Ван, как видно, не был «благородным мужем». Не обращая внимания на слова А-Кью, он стукнул его раз пять головой об стенку, потом толкнул так, что А-Кью отлетел на несколько шагов и только тогда удовлетворенный ушел.

А-Кью не помнил еще, чтобы когда-либо в жизни он был так посрамлен. Ван с его нестерпимой бородой всегда был для А-Кью предметом насмешек, и уж, конечно, речи не могло быть о том, чтобы Ван посмел его бить. И вдруг — посмел! Прямо невероятно! Видно, правду говорят на базаре, будто император уже прекратил экзамены и не желает больше иметь ни сюцаев, ни цзюйжэней; наверно, поэтому так пало уважение к семье Чжао. Может быть, потому и на него, А-Кью, стали теперь смотреть с пренебрежением.

А-Кью стоял и не знал, что ему делать.

Вдали показался человек. Это приближался еще один его враг, презираемый им старший сын почтенного Цяня. Он учился в иностранной школе в городе, а затем, неизвестно как, попал в Токио; спустя полгода он вернулся домой без косы и стал похож на иностранца. Мать его долго плакала, а жена с горя трижды прыгала в колодец. Потом его мать повсюду рассказывала:

— Какие-то негодяи напоили моего сына пьяным и отрезали ему косу. Он мог бы стать большим чиновником, а теперь придется ждать, пока коса отрастет.

Но А-Кью не верил этой истории и за глаза называл молодого Цяня «фальшивым заморским чортом», или

«тайным иностранным агентом» и обычно, завидев его издали, сразу начинал ругаться про себя.

А-Кью, по выражению Конфуция, «глубоко презирал и ненавидел» фальшивую косу сына почтенного Цяня. Ведь если даже коса фальшивая — значит, в человеке нет ничего человеческого; а то, что его жена не прыгнула в колодец в четвертый раз, доказывает лишь, что она нехорошая женщина.

«Фальшивый заморский чорт» подошел ближе.

— Плешивый осел! — ругательство, которое А-Кью всегда произносил только про себя, на этот раз невольно вырвалось у него вслух, так сильно он был расстроен и жаждал мести.

«Фальшивый заморский чорт» неожиданно поднял желтую лакированную палку, ту самую, которую А-Кью называл «похоронным посохом» *, и большими шагами направился к нему. А-Кью, сообразив, что его хотят бить, приподнял плечи и стал ждать нападения. Действительно, удары посыпались на его голову.

— Это я его так ругал! — запротестовал А-Кью, показывая на ребенка [1], стоявшего поодаль. Но удары продолжали сыпаться на него.

А-Кью подумал, что он посрамлен второй раз в своей жизни. К счастью, удары лакированной палки словно что-то завершили в нем: он почувствовал облегчение, а потом и забвение — драгоценное наследие, завещанное нам предками. И А-Кью не спеша направился в винную лавку. К двери он подошел веселый и беззаботный.

Тут он заметил проходившую мимо маленькую монашку из монастыря Спокойствия и Очищения. Обычно, встретив на пути монашку, А-Кью ругался и плевался, но что же должен он был делать теперь, будучи посрамлен второй раз в своей жизни?

«А я-то не знал, почему мне сегодая так не везло. Оказывается, ты шла мне навстречу!» — подумал он.

Он шагнул к ней и с силой плюнул.

Маленькая монашка, опустив голову, поравнялась с ним. А-Кью неожиданно протянул руку и притронулся к ее бритой голове, покрытой косынкой.

---

[1] Китайским маленьким детям бреют головы.

— Бритая! Торопись, монах тебя ждет! — крикнул он и захохотал.

— Ты рукам воли не давай! — вся покраснев, огрызнулась монашка и ускорила шаг.

Завсегдатаи винной лавки расхохотались. Заметив, что его подвиг получил одобрение, А-Кью совсем разошелся.

— Монаху можно, а мне нельзя? — и он ущипнул ее за щеку.

В винной лавке захохотали еще громче. А-Кью, восхищенный собой и желая еще больше угодить публике, ущипнул монашку сильнее и только после этого дал ей уйти.

В этом сражении он совсем забыл и Бородатого Вана и «фальшивого заморского чорта», словно все его поражения разом были отомщены. И странно, его тело вдруг стало легким, как пушинка, готовая вот-вот взлететь.

— Эх ты... бездетный А-Кью! — донесся до него возглас убегавшей монашки.

А-Кью хохотал, довольный собой. Хохотала и публика в винной лавке.

IV

Трагедия любви

Кто-то сказал: есть победители, которые хотят, чтобы их противники были подобны тиграм или соколам: только тогда они ощущают радость победы; если противник подобен барану или цыпленку, победитель чувствует бессмысленность своей победы.

Есть и такие победители, которые, одолев всех и видя, что умирающие умерли, а сдающиеся сдались, скромно повторяют: «Слуга ваш поистине трепещет, воистину устрашен. Моя вина достойна смерти» [1]. Для них нет ни врагов, ни соперников, ни друзей, они возвышаются над всеми. В молчании и холодном одиночестве они ощущают горечь победы.

У нашего А-Кью не было подобных недостатков, он всегда был доволен собою. Это, пожалуй, служит одним из доказательств того, что духовная культура Китая стоит впереди всех на земном шаре.

---

[1] Традиционные слова, которыми чиновники обычно заканчивали доклады императору.

— Смотрите! Он — как пушинка, готовая вот-вот взлететь!

Однако на этот раз победа А-Кью оказалась несколько необычной. Он потерял душевное равновесие, почти целый день он как на крыльях носился в упоении и довольный впорхнул в храм Земледелия. Он должен был бы, как обычно, улечься и захрапеть... Кто бы мог подумать, что в этот вечер ему будет трудно сомкнуть глаза? У него было странное ощущение, словно большой и указательный пальцы его правой руки стали более нежными. Неизвестно, может быть, это случилось потому, что он прикоснулся к щеке маленькой монашки, на лице которой была помада.

«Бездетный А-Кью», — снова прозвучали в его ушах слова монашки. И он подумал: «Правильно... человеку нужна жена. Бездетному после смерти некому будет принести в жертву чашку риса *. Человеку нужна жена! Кроме того, сказано, что «из трех видов непочитания родителей, наихудший — не иметь потомства». Известно также, что «дух Жо Ао голодал» *. Да, бездетность большое горе для человека». Таким образом, мысли А-Кью совпадали с заветами мудрецов и святых. Жаль только, что он, как оказалось впоследствии, не сумел сдержать себя.

«Жена... Женщина... — думал он. — Монаху можно... Женщина... Женщина...»

Мы не можем сказать точно, когда в этот вечер захрапел А-Кью. Но с той минуты, как он ущипнул за щеку маленькую монашку, он постоянно ощущал в пальцах что-то нежное и в упоении мечтал о женщине.

Этот случай доказывает, что женщина — существо вредное.

В Китае добрая половина мужчин могла бы стать святыми, если бы их не портили женщины. Династия Шан погибла из-за Да Цзи *, династия Чжоу рухнула из-за Бао Сы, династия Цинь... хотя в истории и нет тому бесспорных доказательств, но едва ли будет ошибочным предположение, что и она погибла из-за женщины; во всяком случае, Дун Чжо был убит по милости Дао Чань.

А-Кью был весьма нравственным человеком, и хотя нам неизвестно, у какого просвещенного наставника он учился, но в отношении принципа «разделения полов» всегда был необычайно строг и неизменно проявлял суро-

вую твердость в осуждении разной несоответствующей конфуцианству ереси, вроде маленькой монашки или «фальшивого заморского чорта».

Его учение было таково: всякая монахиня непременно состоит в любовной связи с монахом; всякая женщина, выходящая из дому, безусловно стремится залучить любовника, и если женщина где бы то ни было разговаривает с мужчиной, то, разумеется, между ними дело не чисто. В знак осуждения, он бросал на женщин гневные взгляды, или преследовал их едкими замечаниями, или же исподтишка швырял в них камешки.

Кто бы мог подумать, что в тридцать лет, когда человек, как сказал Конфуций, «устанавливается», А-Кью из-за маленькой монашки потеряет душевное равновесие? Ведь древние церемонии учат нас сохранять душевное равновесие. Женщин, поистине, следует ненавидеть! Если бы лицо монашки было иным, А-Кью, разумеется, не впал бы в грех; если бы оно было хоть чем-нибудь прикрыто, он тем более избежал бы искушения. За пять или шесть лет до этого случая А-Кью попал однажды в толпу зрителей перед открытой сценой и ущипнул за ногу какую-то женщину, но она была одета, и это спасло его от потери душевного равновесия. А лицо маленькой монашки было открыто, — и все получилось иначе... Разве это не доказывает, что женщина существо пагубное?

«Женщина!» — мечтал А-Кью.

И вот он стал присматриваться к женщинам, которые «всегда стремятся залучить любовника», — но они даже не улыбались ему в ответ. А-Кью стал внимательно прислушиваться к тому, что ему говорили женщины, но в их словах не было ничего распутного. Вот что еще следует ненавидеть в женщинах: все они прикрываются «ложной добродетелью».

Однажды А-Кью обдирал рис в доме почтенного Чжао и после ужина сидел на кухне, покуривая трубку. Если бы это происходило в каком-нибудь другом доме, то после ужина, собственно говоря, можно было бы уйти. В семье Чжао, как и в других домах, ужинали рано, но здесь, по установленному порядку, зажигать лампу не позволялось: поужинал — и спать! Только в редких случаях допускались исключения. Во-первых, сын почтенного Чжао, когда у него еще не было степени сюцая, иногда зажигал лампу,

чтобы читать книги; и во-вторых, лампу зажигали, когда А-Кью приходил на поденную работу, чтобы он мог обдирать рис и после ужина. Пользуясь этим, А-Кью сидел на кухне и курил трубку.

У-ма была единственной служанкой в доме почтенного Чжао. Вымыв посуду, она тоже уселась на скамейку и стала болтать с А-Кью.

— Хозяйка два дня ничего не ела, потому что наш господин хочет купить еще одну молодую...

«Женщина... У-ма — маленькая распутница», — думал А-Кью, глядя на нее.

— ...А наша молодая хозяйка в августе собирается родить...

«Ох, эти женщины!» — размышлял А-Кью. Он вынул изо рта трубку и поднялся.

— Наша молодая хозяйка... — не умолкая, трещала У-ма.

А-Кью вдруг бросился перед ней на колени:

— Давай спать вместе!

На мгновение в кухне стало совсем тихо. У-ма оцепенела от удивления, потом с криком «ай-я!» выбежала из кухни. Она бежала и кричала и, кажется, даже плакала.

А-Кью растерянно стоял на коленях и обнимал пустую скамейку. Наконец он медленно встал, сообразив, что произошло что-то неладное. Сердце его сильно билось. В смущении он сунул трубку за пояс и уже хотел было взяться за работу, как вдруг кто-то ударил его по голове. Он быстро обернулся. Перед ним стоял сюцай с бамбуковой палкой в руке.

— Ты что, взбесился?.. Ах ты!

Длинный бамбук опять опустился на голову А-Кью. Он прикрыл ее руками, и удар пришелся по пальцам. Это было еще больнее. Когда он выскочил за дверь, его как будто опять ударили по спине.

— Ах ты, тварь, «забывшая восьмое правило» [1], — по-ученому выругался вслед ему сюцай.

А-Кью прибежал на ток и остановился, все еще чувствуя боль в пальцах. Он повторял про себя новое для него ругательство: «тварь, забывшая восьмое правило».

---

[1] Правило почитания родителей; по смыслу то же, что и распространенное китайское ругательство «черепашье яйцо», означающее: не знающий своих родителей, «незаконнорожденный».

Крестьяне в Вэйчжуане никогда не ругались на таком языке, он был в ходу только у важных лиц, знавшихся с чиновниками. А-Кью был сильно возмущен. После ругани и побоев все его мечты о женщине исчезли. С этим как будто было покончено. Вскоре А-Кью успокоился и опять почувствовал себя беззаботным. Как ни в чем не бывало он вернулся на кухню обдирать рис. Проработав некоторое время, он вспотел и снял рубашку.

В это время он услышал громкие голоса. А-Кью всю свою жизнь был любителем всяких скандалов, он поспешил на шум и незаметно пробрался на женскую половину дома почтенного Чжао. Хотя уже были сумерки, он разглядел всех: в комнате собрались два дня не евшая хозяйка, соседка — тетушка Цу-седьмая и близкие родственники — Чжао Бай-янь и Чжао Сы-чэнь.

Молодая хозяйка тащила У-ма из другой комнаты.

— Ну, выходи! Нечего прятаться...

— Все знают, что ты честная... А убивать себя — это никуда не годится! — приговаривала тетушка Цу-седьмая.

У-ма плакала и что-то бормотала, но ее плохо было слышно.

«Гм, интересно, с чего это маленькая распутница подняла такой шум?» — подумал А-Кью.

Он решил все разузнать у Чжао Сы-чэня.

Тут А-Кью увидел, что почтенный Чжао направляется к нему с большой бамбуковой палкой в руке. А-Кью моментельно сообразил, что ему и на кухне досталось от сюцая тоже в связи со всем этим переполохом, и он метнулся было к выходу, но бамбуковая палка преградила ему путь. Тогда он повернул в другую сторону, выбежал через задние ворота и спустя некоторое время очутился в своем храме.

Отдышавшись, он почувствовал, что продрог, по коже у него пошли мурашки, — правда, уже наступила весна, но вечера еще стояли холодные и рано было ходить раздетым. А-Кью спохватился, что его рубашка осталась в доме Чжао, и хотел было пойти за ней, но вспомнил о палке сюцая и раздумал.

Неожиданно в его каморке появился староста.

— Ах, тварь ты этакая!.. Ты стал уже приставать даже к служанке почтенного Чжао? Это безобразие, это бунт! От тебя покоя нет, ты и мне по ночам спать не даешь, ах ты... — староста свирепо выругался и еще долго продол-

жал в таком же духе свое поучение. А-Кью нечего было возразить.

В конце концов, ввиду позднего времени, пришлось посулить старосте на вино вдвое больше обычного — целых четыреста вэней. Денег у А-Кью не было, и он отдал в залог свою войлочную шляпу. Кроме того, он должен был согласиться на следующие пять условий:

Первое: он должен завтра же пойти в дом Чжао с извинениями и отбить положенное число поклонов, да еще прихватить с собой пару красных свечей, каждая весом около цзиня, и пачку ароматичных палочек.

Второе: семейство Чжао пригласит за счет А-Кью даосского монаха для изгнания демона самоубийства.

Третье: А-Кью отныне запрещается входить в дом почтенного Чжао.

Четвертое: если впредь с У-ма случится что-нибудь неожиданное, отвечать за это будет А-Кью.

Пятое: А-Кью не разрешается требовать денег ни за работу, ни за рубашку.

А-Кью, конечно, принял все эти условия. Жаль только, что у него не было денег. К счастью, наступила весна, и можно было обойтись без ватного одеяла, которое он заложил за две тысячи вэней, чтобы выполнить свои обязательства. После того как он потерял рубашку и преподнес семейству почтенного Чжао свечи и курения, отбив при этом положенное число поклонов, у него осталось всего несколько вэней, но выкупить свою войлочную шляпу он и не подумал, а деньги пропил.

Семейство почтенного Чжао решило свечи и курения оставить про запас: хозяйка могла их взять с собой, отправляясь на ежегодное богомолье; из рубашки А-Кью, вероятно, выкроили пеленки для сына, родившегося у молодой хозяйки, а из остатков рубашки пострадавшая У-ма сделала себе подошвы к туфлям.

V

Вопрос о средствах к жизни

Совершив все требовавшиеся от него церемонии в доме Чжао, А-Кью, как обычно, возвратился в свой храм. На заходе солнца он почувствовал, что вокруг происходит

что-то странное. Поразмыслив, он догадался, что причиной этому — его голая спина. Вспомнив, что у него осталась еще потрепанная куртка, он накинул ее и улегся, а когда открыл глаза, увидел, что солнце озаряет край западной стены. Он вскочил и крепко выругался.

Потом, как всегда, он отправился шататься по улицам. И хотя теперь его спина была прикрыта курткой, ему снова стало казаться, что вокруг происходит что-то странное. Как будто с этого дня все женщины в Вэйчжуане стали избегать его. Завидев А-Кью, они поспешно уходили или прятались за ворота. Даже тетушка Цу-седьмая, которой было под пятьдесят, тоже спешила укрыться от него, да еще уводила свою одиннадцатилетнюю дочку.

А-Кью все это чрезвычайно удивляло. «С чего вдруг все эти твари стали изображать благородных девиц? — думал он. — Потаскухи этакие!»

События, которые произошли несколько дней спустя, заставили его еще острее ощутить, что в мире творится что-то странное. Во-первых, в винной лавке перестали отпускать ему в кредит; во-вторых, старик, сторож в храме Земледелия, стал ворчать, как бы намекая, что А-Кью уже пора уйти из храма; и в-третьих — правда, он не помнил, сколько именно дней, но во всяком случае уже давно — никто не звал его на работу. Что винная лавка не давала в кредит — это еще можно было перенести, что старик разворчался — пускай себе ворчит, но сидеть без работы и голодать? Нет, это уж ни к чорту не годится!

А-Кью не вытерпел и решил узнать, что случилось, у своих старых нанимателей; он не смел показываться только в доме почтенного Чжао. Но странное дело! Повсюду к нему выходили только мужчины и с раздраженным видом, словно отказывая нищему, махали рукой:

— Нет! Нет! Уходи!

А-Кью недоумевал. Еще так недавно все наперебой требовали его помощи в хозяйстве, а теперь ни у кого нет для него работы. «Тут что-то неладно», — думал А-Кью. Он узнал, что теперь вместо него на работу зовут Маленького Дэна. Этот Маленький Дэн был бедняк, худой и слабый; в глазах А-Кью он стоял даже ниже Бородатого Вана. Кто бы мог подумать, что это ничтожество посмеет отбить у него, А-Кью, чашку риса? На этот раз А-Кью обо-

злился, как никогда. В ярости шагал он по дороге и, размахивая руками, пел:

«В руке держу стальную плеть, хочу тебя сразить...»

Спустя несколько дней А-Кью встретил, наконец, Маленького Дэна у стены, ограждающей от злых духов.

«Когда встречаются враги, глаза готовы выпрыгнуть». А-Кью устремился вперед, Маленький Дэн остановился.

— Скотина! — крикнул А-Кью, окинув своего врага гневным взглядом.

— Но ведь я козявка... Верно? — отозвался Маленький Дэн.

Это смирение только распалило гнев А-Кью, и так как в руке у него не было стальной плети, он ринулся вперед и схватил Дэна за косу.

Маленький Дэн, одной рукой защищая свою косу, другой ухватил косу А-Кью, которую тот прикрывал свободной рукой. Прежде А-Кью считал, что у Маленького Дэна еще не все зубы прорезались, но теперь, голодая, А-Кью сам исхудал и ослаб, и ему не так легко было справиться с Дэном, неожиданно превратившимся в серьезного противника. Четырьмя руками ухватившись за две косы, они добрых полчаса стояли друг против друга, согнувшись и отбрасывая темносинюю дугу тени на белую стену дома почтенного Цяня.

— Ладно! Ладно! — кричали некоторые зрители, словно уговаривая их разойтись.

— Здорово! Здорово! — еще громче кричали другие, не то одобряя, не то подстрекая сцепившихся врагов. Противники никого не слушали, поглощенные своей борьбой. Ни один из них явно не мог одолеть другого. Когда А-Кью удавалось сделать три шага вперед — Маленький Дэн отступал на три шага, и оба останавливались; потом на три шага наступал Дэн, и А-Кью отступал на три шага, и опять оба застывали на месте. Так прошло еще около получаса. В Вэйчжуане часов мало и точно сказать трудно — может быть, всего двадцать минут.

Казалось, от их волос подымался пар, по лбам катился крупный пот... Наконец руки А-Кью разжались, и в ту же секунду разжались руки Маленького Дэна. Они одновременно выпрямились, одновременно попятились друг от друга и выбрались из толпы зрителей.

— Запомнишь ты у меня!.. — через плечо крикнул А-Кью.

— Ты у меня запомнишь! — тоже через плечо отозвался Маленький Дэн...

В этой «битве тигра с драконом» как будто не было ни победы, ни поражения; неизвестно, остались ли довольны зрители, — они не высказали своего мнения на этот счет! Известно только, что и после этого случая попрежнему никто не звал А-Кью на работу.

Однажды, когда стоял теплый день и дул легкий ветерок, в котором чувствовалось дыхание наступающего лета, А-Кью внезапно охватил сильный озноб. Это еще можно бы терпеть, но главное — в животе было пусто! С ватным одеялом, войлочной шляпой и рубашкой А-Кью расстался уже давно. Затем была продана и ватная куртка. Оставались только штаны, — их-то уж никак нельзя было снять, — да рваная рубаха, которую можно было кому-нибудь подарить на подошвы для туфель, но за которую ничего нельзя было получить. А-Кью давно уже хотел найти на дороге деньги, но до сих пор это ему не удавалось. А-Кью чудились деньги и в его убогой каморке, но, сколько он ни озирался по сторонам, она попрежнему была пуста. И вот А-Кью решил отправиться, как говорится в книгах, «на поиски пропитания».

Шагая по дороге в «поисках пропитания», он увидел знакомую винную лавку, знакомые круглые пампушки, но прошел мимо, не останавливаясь. Он — «искал пропитания» совсем в ином роде, и сам еще не знал, что ищет.

Вэйчжуан — небольшая деревня, и А-Кью скоро дошел до ее конца. Дальше начинались заливные рисовые поля, глаз отдыхал на зелени свежих побегов; вдали двигались темные точки — это крестьяне пахали поля. А-Кью, не разделявший радостей земледельцев, шел вперед. Он чувствовал, что не на этом пути нужно «искать пропитание». В конце концов он дошел до ограды монастыря Спокойствия и Очищения.

Вокруг были те же рисовые поля; белая стена монастыря резко выделялась среди свежей зелени. Позади него, за глиняной стеной, был огород. А-Кью осторожно оглянулся по сторонам — вокруг никого не было — и стал карабкаться на стену, хватаясь за какое-то ползучее растение; глина осыпалась, он срывался вниз, пока, наконец,

не ухватился за сук тутового дерева и не прыгнул в огород.

Здесь все заросло густой зеленью, но на грядках не было ни вина, ни пампушек — ничего, что можно было бы съесть. У западной стены росла бамбуковая рощица, в ней было много побегов, но, увы, не вареных [1]. В огороде было много овощей, но горчица цвела, турнепс только еще закруглялся, а капуста уже перезрела.

В унынии, словно он провалился на императорских экзаменах, А-Кью побрел к воротам и вдруг от радости замер на месте: он наткнулся на грядку репы.

Но когда, присев на корточки, он собирался выдернуть репку, в ворота просунулась круглая голова и тотчас же скрылась. Это несомненно была маленькая монашка. А-Кью смотрел на монашек, как на сорную траву. Но в жизни следует быть осмотрительным, и он быстро вырвал четыре репы, открутил ботву и спрятал свою добычу в полу куртки. В эту минуту появилась старая монахиня.

— Амитофо, амитофо... [2] Ты это зачем залез в наш огород? Репу воровать? Ай-я! И не грех тебе!

— Когда это я лазил в твой огород воровать репу? — пятясь к выходу, спросил А-Кью.

— Да сейчас... — старуха показала на завернутую полу его куртки.

— А разве это твои? Ты позови их, пусть они отзовутся тебе. Эх, ты!..

Не договорив, А-Кью большими прыжками помчался к выходу. На него набросился огромный жирный черный пес, который всегда был на переднем дворе, а теперь неведомо как очутился в огороде.

Пес погнался за А-Кью, но, к счастью, из полы его куртки выпала одна репа. Пес в испуге остановился... В одно мгновение А-Кью взобрался на тутовое дерево, с него — на стену, а затем вместе с репой скатился вниз... За оградой остался черный пес, лаявший на тутовое дерево, да старая монахиня, бормотавшая «амитофо, амитофо»...

---

[1] Вареные побеги бамбука — одно из распространенных китайских кушаний.

[2] Амитофо — простонародное название будды, которое непрерывно произносят буддийские монахи.

А-Кью подобрал репу, захватил заодно несколько больших камней и побежал. Он боялся, как бы старуха не спустила на него черного пса. Собаки не было видно. Тогда А-Кью выбросил камни и пошел не торопясь, на ходу жуя репу. И тут у него мелькнула мысль, что в Вэйчжуане ему делать больше нечего и лучше перебраться в город.

Доедая третью репу, он окончательно остановился на этом решении.

VI

От возрождения к закату

Вэйчжуанцы снова увидели А-Кью только после праздника осени. Все были изумлены, когда узнали, что он вернулся, и стали припоминать, когда же это он ушел. Прежде, собираясь в город, А-Кью заранее всем радостно сообщал об этом, но на этот раз никто не заметил его ухода. Может быть, он и сказал что-нибудь старику в храме, но у вэйчжуанцев так уже повелось, что они считали событием только поездку в город таких важных лиц, как почтенный Чжао, почтенный Цянь или господин сюцай. Даже «фальшивый заморский чорт» не входил в их число. Что же тогда говорить об А-Кью! Поэтому старик не стал распространять новость, и вэйчжуанское общество ничего не узнало.

Но на этот раз возвращение А-Кью совершенно не было похоже на предыдущие и поистине заслуживало удивления. Уже темнело, когда он с сонным видом вошел в винную лавку и, вытащив из-за пояса пригоршню серебра и меди, бросил деньги на прилавок.

— Плачу наличными! Подай вина!

Одет он был в новую куртку, и видно было, что на поясе, сильно оттягивая его, висит большой, туго набитый кошелек. Обычно вэйчжуанцы относились к внезапно разбогатевшим людям с недоверием, хотя и с почтением. А-Кью, конечно, все узнали, но сразу же заметили, что он совсем не похож на прежнего А-Кью в рваной куртке. Древние говорили: «Когда ученый удалился из родных мест хотя бы на три дня, встречать его надо с особым почетом». Поэтому все — и хозяин, и слуги, и посетители винной лавки, и прохожие — отнеслись к А-Кью с почте-

нием, правда, смешанным с некоторой подозрительностью. Хозяин покачал головой и спросил:

— Хэ! А-Кью, ты вернулся?

— Вернулся.

— Разбогател! Разбогател! Откуда это ты?

— Был в городе.

Эта новость на другой же день облетела весь Вэйчжуан, и все заинтересовались возрождением А-Кью. Ведь он вернулся с деньгами и в новой куртке! Об этом приходили узнавать и в винную лавку, и в чайную, и к воротам храма. Все стали относиться к А-Кью с еще большим почтением. А когда стало известно, что он работал в доме господина цзюйжэня, все вэйчжуанцы преисполнились благоговением. Фамилия этого цзюйжэня была Бай; но так как во всем городе был только один цзюйжэнь, то не к чему было называть его фамилию, ибо сказать «цзюйжэнь» — значило назвать именно его. Так было не только в Вэйчжуане, но и на сто ли вокруг. Многие даже считали, что господин цзюйжэнь — это и есть его имя и фамилия. Служить в семье такого человека! Да за одно это А-Кью был достоин уважения.

Однако, по словам А-Кью, он сам не захотел служить у цзюйжэня, потому что тот оказался слишком большим прохвостом. Узнав об этом, слушатели сокрушенно вздохнули, но в то же время и обрадовались: с одной стороны, они считали, что А-Кью, конечно, не место в доме почтенного цзюйжэня, а с другой стороны — стоило пожалеть о том, что он там больше не работает.

Как утверждал А-Кью, он вернулся в Вэйчжуан еще и потому, что остался недоволен горожанами. Кроме их старых чудачеств, вроде того, что они называли скамью лавкой и жареную рыбу приправляли мелко нарезанным луком, он заметил еще, что городские женщины не так уж красиво ковыляют. Но А-Кью признавал, что у горожан есть и свои достоинства. К примеру, вэйчжуанцы умеют играть только тридцатью двумя бамбуковыми картами и во всей деревне один лишь «фальшивый заморский чорт» умеет играть в «мацзян» [1], а вот в городе все уличные мальчишки мастера в этом деле. Куда уж там «фаль-

---

[1] Мацзян — распространенная азартная игра в кости.

шивому заморскому чорту!» Попадись он только в руки этим десятилетним мальчишкам — и в одну секунду станет «ничтожным маленьким чертенком перед лицом князя ада»! От этого рассказа все слушатели даже покраснели.

— А видели вы, как рубят головы? — неожиданно спросил А-Кью. — Эх, красиво! Я в городе видел казнь... Вот это зрелище!

Он тряс головой и брызгал слюной прямо в лицо стоявшему перед ним Чжао Сы-чэню. Слушатели вздрогнули. Оглядевшись, А-Кью внезапно взмахнул правой рукой и стукнул по затылку Бородатого Вана, слушавшего с вытянутой шеей.

— Ш-ша... — прошипел А-Кью, подражая свисту меча.

Бородатый Ван мгновенно втянул голову в плечи и в испуге отскочил, словно его ударило электрическим током. Это всех развеселило и взволновало. А Бородатый Ван несколько дней после этого бродил как в тумане и не смел больше приближаться к А-Кью. Да и все после этого предпочитали держаться от него на почтительном расстоянии. В глазах вэйчжуанцев он поднялся очень высоко и, пожалуй, не будет преувеличением, если мы скажем, что А-Кью достиг такого положения, какое занимал почтенный Чжао.

Через некоторое время слава А-Кью проникла даже на женские половины домов Вэйчжуана. Хотя, собственно, во всей деревне только в больших домах почтенного Чжао и почтенного Цяня были женские половины, а во всех прочих домах вообще никаких половин не было, — но все-таки женская половина остается женской половиной, и то, что слава А-Кью проникла туда, поистине удивительно. При встрече женщины спешили рассказать друг другу, что тетушка Цу-седьмая купила у А-Кью синюю шелковую юбку, конечно, подержанную, но заплатила за нее всего лишь девять мао. Кроме того, мать Чжао Бай-яня (по словам же других, мать Чжао Сы-чэня, — это нуждается в проверке) тоже купила у него детскую рубашку из красного заграничного полотна, почти новую, всего за триста вэней, да к тому же еще в каждой связке вместо ста вэней было девяносто два.

Поэтому все вэйчжуанки только и думали о том, как бы встретиться с А-Кью; одни хотели купить у него шелковую юбку, другие рубашку из заморского полотна. Теперь они не только не прятались, завидев А-Кью, а сами

останавливали его, когда он проходил мимо, они бежали за ним, кричали, чтоб он остановился и спрашивали:

— А-Кью, нет ли у тебя шелковой юбки? А если нет юбки, так, может быть, полотняная рубашка найдется?

Вскоре новость о покупке тетушки Цу-седьмой стала известна в богатых домах. Тетушка Цу-седьмая на радостях попросила жену почтенного Чжао оценить шелковую юбку, а та сообщила об этом своему супругу и очень расхвалила покупку. Почтенный Чжао за ужином в беседе с сюцаем заметил, что с А-Кью дело неладно и что следует получше запирать двери и окна. Что же касается его товаров, то, пожалуй, кое-что можно было бы купить, если у него еще остались хорошие вещи. Жена почтенного Чжао пожелала приобрести дешевую, но хорошую меховую безрукавку. На семейном совете решили поручить тетушке Цу-седьмой немедленно разыскать А-Кью; ради такого случая даже нарушили обычай и в этот вечер зажгли лампу.

Масла выгорело уже немало, но А-Кью не появлялся. Семейство Чжао зевало, с нетерпением ожидая его. Все ругали А-Кью и бранили тетушку Цу-седьмую за то, что она так долго его не приводит. Жена почтенного Чжао опасалась, что А-Кью, пожалуй, не посмеет притти из-за истории с У-ма, — ведь тогда ему запретили переступать порог их дома.

Но почтенный Чжао считал эти опасения неосновательными: ведь он сам позвал к себе А-Кью. И действительно, на этот раз почтенный Чжао был прав. А-Кью в конце концов явился в сопровождении тетушки Цу-седьмой.

— Он сказал, что у него ничего нет, а я сказала: ты должен сам пойти и сказать, а он еще хотел сказать, а я сказала... — задыхаясь, еще с порога затараторила тетушка Цу-седьмая.

— Господин, — неуверенно начал А-Кью и остановился у входа.

— Говорят, ты вдруг разбогател, — перебил его почтенный Чжао, подходя к нему и меряя его взглядом. — Ну что же, это хорошо... Это очень хорошо... Да... говорят, у тебя есть кое-какие старые вещи... Можешь принести показать... Не потому, что... а просто я хотел бы...

— Я уже говорил тетушке Цу... Кончилось...

— Как это «кончилось»? — вырвалось у почтенного Чжао. — Не может быть. Так скоро?

— Это были вещи моего приятеля. Их было немного... раскупили...

— А может, что-нибудь осталось?

— Есть только занавеска на дверь.

— Неси занавеску на дверь... Посмотрим... — поспешно сказала жена почтенного Чжао.

— Ладно, принесешь завтра, — равнодушно добавил почтенный Чжао. — А вот в другой раз, когда у тебя будут какие-нибудь вещи, ты сначала покажи их нам.

— Цену мы дадим не меньшую, чем другие, — вставил сюцай.

Жена сюцая испытующе взглянула на А-Кью: подействовало ли на него это обещание?

— Мне нужна меховая безрукавка, — заявила жена почтенного Чжао.

Уходя, А-Кью пообещал, но таким безразличным тоном, что нельзя было понять, всерьез он принял этот разговор или нет. Взглянув на него, жена почтенного Чжао потеряла всякую надежду. Она так разозлилась и взволновалась, что даже перестала зевать. Сюцай тоже был недоволен поведением А-Кью и сказал, что следует остерегаться этого негодяя, «забывшего восьмое правило», а еще лучше сейчас же сказать старосте деревни, чтобы он запретил А-Кью жить в Вэйчжуане. Однако почтенный Чжао возразил, что такая мера может, пожалуй, вызвать нарекания, и, кроме того, люди этой профессии подобны «старому орлу, который никогда не ест около своего гнезда». В своей деревне нечего опасаться, — надо только почаще просыпаться по ночам. Выслушав это «домашнее поучение», сюцай тут же отказался от своего плана изгнать А-Кью и попросил тетушку Цу-седьмую ни в коем случае не передавать этого разговора посторонним.

На следующий день тетушка Цу-седьмая, не теряя времени, перекрасила синюю шелковую юбку и стала рассказывать всем, кого встречала, о подозрениях относительно А-Кью; правда, она не говорила о том, что сюцай хотел изгнать его из деревни.

С этого и начались несчастья А-Кью.

Прежде всего к нему явился староста и отобрал занавеску. Хотя А-Кью заявил, что ее хотела посмотреть жена

почтенного Чжао, но староста занавеску все-таки не отдал да еще потребовал, в знак почтения к своей особе, ежемесячное подношение. Вслед за этим внезапно изменилось отношение всех жителей Вэйчжуана к А-Кью. Они не решались выказывать ему явное пренебрежение, но старались держаться от него на почтительном расстоянии. У вэйчжуанцев было очень путаное представление о «почтительном расстоянии». Теперь их поведение не имело ничего общего с тем опасливым уважением, какое они проявляли по отношению к А-Кью после его рассказа о казни в городе, когда он показал, как рубят головы: «Ш-ша!»

Нашлись среди вэйчжуанцев и такие, которым хотелось разузнать о делах А-Кью все подробности. А-Кью ничего не скрывал; он с гордостью рассказывал о своем «опыте». Они узнали, что его роль была очень скромная: он не лазил через стены, а лишь стоял на страже и принимал вещи. Как-то ночью, едва он принял первый мешок, а главарь полез за вторым, — вдруг послышался шум, и А-Кью поспешил удрать. В ту же ночь он тайком перелез через городскую стену и убежал в Вэйчжуан. С тех пор он больше не осмеливался приниматься за подобные дела.

Откровенный рассказ А-Кью еще больше навредил ему. Ведь в последнее время вэйчжуанцы старались держаться от него «на почтительном расстоянии», чтобы не прогневать его. Кто бы мог подумать, что он всего-навсего мелкий воришка, не посмевший украсть вторично! Напрасно они его боялись: А-Кью поистине «не достоин боязни»! [1]

VII

Революция

На четырнадцатый день девятого месяца в третий год правления Сюань Туна * — в тот самый день, когда А-Кью продал свой кошелек Чжао Бай-яню, — к пристани у дома Чжао причалила джонка под черным навесом. Джонка выплыла из мрака за полчаса до конца третьей стражи *; в деревне уже все крепко спали, и никто об этом не знал. Ушла джонка перед самым рассветом, и тут ее кое-кто

---

[1] Слова из конфуцианского четверокнижия.

заметил. Любители новостей разведали, что это была джонка господина цзюйжэня.

Появление этой джонки обеспокоило вэйчжуанцев, и уже к полудню все сердца наполнились тревогой. Семья Чжао тщательно скрывала цель прихода джонки, но в чайной и в винной лавке заговорили о том, что революционеры подступают к городу и что господин цзюйжэнь сбежал оттуда в Вэйчжуан. Одна только тетушка Цу-седьмая держалась другого мнения и утверждала, что господин цзюйжэнь попросту прислал семье Чжао на хранение несколько старых сундуков, но почтенный Чжао их не принял и отослал обратно. Действительно, господин цзюйжэнь и господин сюцай прежде не ладили и, следовательно, не могли сочувствовать друг другу в беде. Притом ведь тетушка Цу-седьмая была соседкой семьи Чжао, она видела и слышала больше других, так что, вероятно, была права.

Однако слухи быстро распространялись. Поговаривали, будто господин цзюйжэнь сам не приехал, но прислал длинное письмо, в котором устанавливал родственные связи между своей семьей и семьей почтенного Чжао. И почтенный Чжао, хорошенько поразмыслив, решил, что в этом нет ничего дурного. Говорили, что он оставил у себя сундуки господина цзюйжэня и спрятал их под кроватью своей супруги. Что касается революционеров, то утверждали, будто они в ту же ночь захватили город, и что все они в белых панцырях и в белых шлемах — в знак траура по императору Цзун Чжэну *.

А-Кью давно уже прислушивался к разговорам о революционерах, тем более, что недавно он собственными глазами видел, как одного из них казнили. Он считал почему-то, что революционеры — то же самое, что мятежники, а мятежники были ему не по нутру. Он «глубоко ненавидел и презирал их», но никак не ожидал, что известный во всей округе господин цзюйжэнь так их испугается. И паника, охватившая вэйчжуанцев, доставляла А-Кью удовольствие.

«Пусть будет революция... — думал он. — Перевернуть бы всех этих проклятых... Я и сам непрочь присоединиться к революционерам!»

В последнее время у А-Кью совершенно не было денег, и он опьянел после двух чашек вина, выпитых в полдень на пустой желудок. Новые мысли привели его в странное

возбуждение. Неизвестно, как это случилось, но ему вдруг показалось, что он превратился в революционера, а жители Вэйчжуана — в его пленников. Он так обрадовался, что не удержался и закричал:

— Мятеж! Мятеж!

Вэйчжуанцы в страхе смотрели на него. Таких жалких глаз А-Кью никогда еще не видел, и ему стало так приятно, словно он в июньскую жару выпил ледяной воды. В отличном настроении он шагал по улице и кричал:

— Хорошо! Что хочу, то и будет! Какая мне понравится, — та и будет! Раскаиваться не придется!.. Напились! По ошибке казнили младшего брата Чжэня!.. Раскаиваться не придется! — Потом он запел во всю мочь:

— Трра-та-та! «В руке держу стальную плеть, хочу тебя сразить!»

Двое мужчин из семейства Чжао с двумя своими настоящими родственниками стояли у ворот и тоже рассуждали о революции.

А-Кью не заметил их и прошел мимо, распевая во все горло: «Тра-та-та...»

— Почтенный А-Кью, — боязливо окликнул его почтенный Чжао.

— Тра-та... — А-Кью никогда не думал, что это обращение может относиться к нему, и пошел дальше, продолжая горланить:

— Тра-та!

— Почтенный Кью!

— Раскаиваться не придется!..

Сюцаю пришлось окликнуть его просто по имени.

— А-Кью!

А-Кью тотчас же остановился и, обернувшись, спросил:

— Что?

— Почтенный Кью, теперь вы... — У почтенного Чжао нехватало слов, — вы теперь... с удачей?

— Удача? Конечно! Что захочу, то и будет.

— Братец Кью... ведь таким, как мы, бедным друзьям, неважно, если... — со страхом заговорил Чжао Бай-янь. Казалось, он хотел выведать у А-Кью намерения революционной партии.

— Бедные друзья? Да ты, пожалуй, побогаче меня, — ответил А-Кью и пошел дальше.

Оставшиеся у ворот растерянно молчали. Потом Чжао-отец и Чжао-сын вошли в дом и совещались о чем-то до тех пор, пока не пришло время зажигать лампу.

Чжао Бай-янь, вернувшись к себе домой, вынул из-за пояса кошелек и велел жене спрятать его на самое дно сундука.

А-Кью весь день носился как на крыльях в упоении и в конце концов, протрезвившись, вернулся в свой храм. В этот вечер старик-сторож также был необычайно приветлив и пригласил его выпить чаю. А-Кью попросил у него две лепешки и, проглотив их, потребовал свечу в четыре ляна весом. Он вставил ее в подсвечник, зажег и улегся в своей каморке. Новизна положения так радовала его, он даже говорить не мог. Свеча горела, совсем как в новогоднюю ночь, пламя мерцало, и мысли А-Кью вспыхивали, как ее мерцающее пламя...

«Мятеж? Интересно... Придут революционеры в белых шлемах и белых панцырях... у всех в руках ножи, плети, бомбы, заморские пушки, трехзубцы, обоюдоострые мечи, пики с крючками. Они подойдут к храму и позовут: «А-Кью, идем с нами!»... И он пойдет вместе с ними... Вот можно будет посмеяться! Все без различия — мужчины и женщины Вэйчжуана, стоя на коленях, будут кричать: «А-Кью, пощади!» Но кто их станет слушать! Первым заслуживает смерти Маленький Дэн вместе с почтенным Чжао, потом сюцай и «фальшивый заморский чорт»... Может, оставить кого-нибудь? Пожалуй, Бородатого Вана... А впрочем, и его нечего жалеть.

А как же с вещами? Прямо пойти и открыть сундуки!.. Драгоценности, деньги, заморские ткани... Сначала надо перетащить в храм кровать жены Сюцая, отличную кровать нинбоского образца [1], потом столы и стулья семейства Цянь... а можно и от того же Чжао!.. При этом самому пальцем не двинуть, — пусть Дэн все перетащит, да попроворнее, а если он не будет работать как следует, дать ему пощечину...

Сестра Чжао Сы-чэня безобразна... Дочка тетушки Цу-седьмой... когда подрастет — тогда и поговорим! Жена «фальшивого заморского чорта» может спать с бескосым

---

[1] Лучшая китайская мебель выделывается в городе Нинбо, провинции Чжэцзян.

мужчиной!.. Тьфу, дрянь какая! Жена сюцая со шрамом на веке... У-ма давно не показывается, неизвестно, где это она запропастилась. Жаль, что ноги у нее слишком большие...»

Не успев обдумать все как следует, А-Кью захрапел. Свеча в четыре ляна обгорела лишь на полвершка, и красный, мигающий свет озарял открытый рот А-Кью.

— Хо-хо! — внезапно вскрикнул он во сне и приподнял голову, явно не соображая, где находится. Взгляд его остановился на горящей свече, и он сразу же снова уснул.

На другой день А-Кью встал поздно. Выйдя на улицу, он увидел, что вокруг ничего не изменилось. В желудке у него попрежнему было пусто. Он пытался что-нибудь придумать, но ничего не приходило в голову. Наконец с умыслом или случайно он зашагал к монастырю Спокойствия и Очищения.

Монастырь с белыми стенами и черными лакированными воротами покоился в тишине, как и в тот весенний день, когда А-Кью отправился «на поиски пропитания». Он подошел к воротам и постучал. Со двора отозвалась собака. А-Кью торопливо подобрал обломки кирпича и стал стучать ими еще сильнее. Только после того, как на черном лаке появилось множество царапин, за калиткой послышались чьи-то шаги.

А-Кью зажал в руке кирпич и, расставив ноги, приготовился к сражению с большим черным псом. Но калитка слегка приоткрылась, и А-Кью увидел лишь старую монахиню.

— Ты зачем опять пришел? — спросила она испуганно.

— Теперь революция... ты знаешь? — пробормотал А-Кью.

— Революция! Здесь уже была революция... До чего вы хотите нас довести со своей революцией? — сердито спросила старая монахиня, мигая покрасневшими глазами.

— Как так? — удивился А-Кью.

— Разве ты не знаешь, что к нам уже приходили и сделали революцию?

А-Кью еще больше удивился:

— Кто приходил?

— Сюцай с «фальшивым заморским чортом»!

А-Кью опешил. Старая монахиня, заметив, что он утратил свой боевой пыл, тотчас захлопнула перед ним калитку. А-Кью толкнул калитку; она не поддалась. Он снова стал стучать. Никто не отозвался.

Все события произошли утром. Сюцай был мастер разузнавать новости и, проведав, что революционеры захватили город, сейчас же закрутил на макушке косу и спозаранку отправился к Цяню — «фальшивому заморскому чорту». До сих пор они не ладили, но когда наступила эпоха «всяких обновлений», сразу стали закадычными друзьями и уговорились сообща сделать в Вэйчжуане революцию.

Долго они думали, с чего начать и наконец придумали. В храме Спокойствия и Очищения хранилась императорская таблица с надписью: «Десять тысяч лет и еще сто тысяч лет императору!» Вот эту таблицу, по их мнению, следовало уничтожить в первую очередь. И они без промедления отправились в монастырь делать революцию.

Старая монахиня вздумала сопротивляться и протестовать; тогда они превратили ее в «маньчжурское правительство» и порядком поколотили. Опомнившись после их ухода, она увидела, что сломанная императорская таблица валяется на полу, а бронзовая курильница времен императора Сюань Дэ, стоявшая перед алтарем богини Гуаньинь, бесследно исчезла.

Обо всем этом А-Кью узнал слишком поздно. Он очень горевал, что проспал, и возмущался, что его не позвали.

«Неужели, — думал он, — они еще не знают, что я решил присоединиться к революции?»

VIII

Не разрешили присоединиться к революции

Волнение жителей Вэйчжуана постепенно улеглось. Они узнали, что хотя революционеры и захватили город, никаких серьезных изменений не произошло. Солдатами командовал тот же командир батальона. Господином начальником уезда остался тот же самый чиновник, изме-

нился только его титул. Да еще господин цзюйжэнь тоже стал служить в каком-то чине. Что означали эти новые звания, жители Вэйчжуана не понимали. Вышла только одна неприятность. Несколько нехороших революционеров набезобразничали на следующий же день: они стали насильно отрезать у мужчин косы. По слухам, лодочник Ци Цзинь из соседней деревни попался им в руки и совершенно потерял человеческий облик — остался без косы. Для вэйчжуанцев это была не такая уж большая опасность: им редко приходилось ездить в город, а если кто и собирался туда, то легко мог отменить свое решение, чтобы не подвергать себя опасности. А-Кью, собиравшийся в город к своим старым друзьям, отказался от этой поездки, как только узнал неприятную новость.

И все же нельзя было утверждать, что в Вэйчжуане ничего не изменилось. Через несколько дней возросло число вэйчжуанцев, закрутивших косы на макушке, причем, как уже указывалось раньше, первым в этом деле оказался сюцай; за ним последовали Чжао Сы-чэнь, Чжао Бай-янь, а потом уж и А-Кью. В летнюю жару и раньше все закручивали косы или связывали их узлом, и это никому не казалось странным. Но теперь стояла глубокая осень, и такое несвоевременное выполнение летних правил нельзя было не считать героическим поступком. Так что нельзя сказать, что революция не имела отношения к Вэйчжуану.

И когда Чжао Сы-чэнь шествовал по улице с голым затылком, прохожие громко кричали:

— Смотрите! Революционер идет!..

Эти возгласы вызывали у А-Кью острую зависть. Когда он узнал потрясающую новость, что сюцай закрутил свою косу, ему и в голову не пришло, что он может сделать то же самое. Но встреча с Чжао Сы-чэнем надоумила его, что такое нововведение достойно подражания. С помощью бамбуковой палочки для еды он закрутил свою косу на макушке и, после долгих колебаний, собрался с духом и храбро вышел на улицу.

Прохожие смотрели на него, но ничего не кричали ему вслед. А-Кью сперва был огорчен, а потом рассердился. В последнее время он легко выходил из себя, хотя его жизнь теперь была не труднее, чем до революции. При встрече с ним люди держались почтительно, хозяин вин-

ной лавки не требовал наличных денег. Но А-Кью все же испытывал разочарование: произошла революция, а все оставалось по-старому! В довершение всего, он встретил Маленького Дэна и чуть не лопнул от злости.

Маленький Дэн тоже закрутил косу на макушке с помощью бамбуковой палочки. А-Кью никак не предполагал, что Дэн осмелится на такой шаг, и решил не позволять ему этого! Маленький Дэн! Что он такое? А-Кью подмывало немедленно наброситься на него, сломать его бамбуковую палочку, спустить косу и надавать ему пощечин за то, что Дэн забыл о своем ничтожном происхождении и посмел сделаться революционером. Но, подумав немного, он простил дерзость Маленького Дэна, только смерил его гневным взглядом и сплюнул.

За последние дни в городе побывал только один «фальшивый заморский чорт». Сюцай, помня о сундуках, оставленных у него в доме на хранение, тоже хотел было поехать с визитом к господину цзюйжэню, но побоялся потерять свою закрученную косу и не поехал. Он написал письмо в форме «желтого зонтика» * и поручил «фальшивому заморскому чорту» передать его цзюйжэню. В письме он просил рекомендацию для вступления в партию свободы. Когда «фальшивый заморский чорт» вернулся, он взял с сюцая четыре юаня, а сюцай получил серебряный значок в виде персика и нацепил его себе на грудь. Все вэйчжуанцы были потрясены и говорили, что значок партии «кунжутного масла» *, пожалуй, не меньшее отличие, чем звание ханьлинь *. На этот раз почтенный Чжао удостоился еще большего уважения, чем когда его сын стал сюцаем. Он сильно возгордился, и все окружающие в его глазах превратились в ничто, а когда он встречался с А-Кью, то даже не замечал его.

Все это раздражало А-Кью. Он уже давно чувствовал себя одиноким и, когда услышал о «серебряном персике» сюцая, сразу понял: чтобы стать революционером, недостаточно только заявить, что присоединяешься к революции и закрутить косу. Самое главное — завести знакомство с революционерами, а он за всю свою жизнь видел только двух: того, которому в городе — ш-ша! — отрубили голову, и этого «фальшивого заморского чорта»! У А-Кью не было выбора, и он решил немедленно пойти посоветоваться с «фальшивым заморским чортом».

Ворота в доме семьи Цянь были открыты; А-Кью осторожно вошел и сразу испугался. Посреди двора, весь в черном, вероятно, в иноземном костюме, стоял «фальшивый заморский чорт». На груди у него был прицеплен «серебряный персик», в руке он держал палку, которую А-Кью когда-то испробовал на себе. Успевшая подрасти коса «фальшивого заморского чорта» была распущена по плечам, растрепанные волосы делали его похожим на святого Лю Хая [1]. Против него стояли Чжао Бай-янь и три бездельника. Они с почтительным вниманием слушали его речь.

А-Кью незаметно подошел и стал позади Чжао Бай-яня; он хотел окликнуть хозяина, но не знал, как это лучше сделать. Сказать: «фальшивый заморский чорт»? Нет, это, конечно, не годится; «иностранец» — нельзя, «революционер» — тоже. Может быть, назвать его «господин иностранец»?

Между тем «господин иностранец» не замечал А-Кью и, закатив глаза, вдохновенно разглагольствовал:

— ...Я человек нетерпеливый. Поэтому, когда мы с ним встречались, я ему прямо говорил: «Брат Хуан! Мы должны начать!» Но он упорно отвечал: «No!» [2] Это — иностранное слово, вам его, конечно, не понять! Если бы не это слово, мы давно бы победили... К тому же, он слишком нерешителен... Несколько раз он просил меня поехать в Хубэй [3], но я не соглашался. Кому охота работать в таком захолустье?

Выждав, когда «господин иностранец» умолкнет, А-Кью храбро произнес «гм!», но и на этот раз почему-то не назвал его «господин иностранец». Четверо слушателей испуганно обернулись, и тут только «господин иностранец» заметил А-Кью.

— Что тебе?

— Я...

— Пошел вон!

— Я хочу присоединиться...

---

[1] Лю Хай — святой отшельник, который никогда не причесывался.

[2] No — нет *(англ.)*.

[3] Хубэй — провинция Центрального Китая, в которой началась революция 1911 года.

— Убирайся!.. — и «господин иностранец» замахнулся на него своим «похоронным посохом».

Чжао Бай-янь и бездельники закричали:

— Господин приказывает тебе убраться, почему же ты не слушаешься!

А-Кью прикрыл голову руками и, не помня себя, бросился за ворота, но «господин иностранец» не преследовал его. Пробежав шагов шестьдесят, А-Кью пошел медленнее. Сердце его сжимала тоска. «Господин иностранец» не разрешил ему присоединиться к революции, а другого пути у него не было. Отныне А-Кью уже не мог надеяться, что придут люди в белых шлемах и в белых панцырях и позовут его. Все его чаяния, надежды, стремления и планы были уничтожены одним взмахом палки. То, что бездельники разнесут эту новость и дадут возможность таким людям, как Маленький Дэн или Бородатый Ван, насмехаться над ним, было в конце концов не столь важно.

Кажется, никогда еще А-Кью не испытывал такого уныния. Он утратил всякий интерес к своей закрученной на макушке косе и почувствовал даже презрение к тем, кто делает такие вещи. Всем назло он решил сейчас же спустить свою косу, но почему-то не сделал этого. Прошатавшись до ночи, он выпил в долг две чашки вина и вновь пришел в хорошее настроение. В его сознании снова возникли смутные образы людей в белых панцырях и белых шлемах.

Однажды, как обычно засидевшись до закрытия винной лавки, А-Кью вернулся в храм Земледелия.

Бум! — вдруг донеслись с улицы странные звуки. А-Кью, любитель шума и всяких происшествий, тотчас же устремился в темноту. Впереди как будто слышались шаги нескольких человек, потом кто-то пробежал мимо. А-Кью повернулся и помчался вслед за бегущим. Человек свернул в сторону, А-Кью тоже. Неизвестный остановился, и А-Кью остановился. Потом он подошел к этому человеку и увидел, что это всего-навсего Маленький Дэн.

— В чем дело? — сердито спросил А-Кью.

— Чжао... Грабят дом почтенного Чжао... — задыхаясь, ответил Дэн.

Сердце А-Кью забилось чаще. Маленький Дэн скрылся в темноте. А-Кью хотел бежать, но остановился. Как человек бывалый, имевший дело с людьми «подобной профес-

сии» и притом необычайно смелый, он добрался до угла улицы и, внимательно приглядевшись, заметил людей, которые выносили сундуки, домашнюю утварь и кровать нинбоского образца. Ему показалось, что это были люди в белых шлемах и белых панцырях, но все это было очень смутно. А-Кью хотел подойти поближе, но ноги не слушались его.

В эту ночь не было луны, и во мраке было так тихо, будто вернулись времена великого покоя, царившего при императоре Фу Си *. А-Кью стоял на углу, пока у него хватило сил, а мимо него все тащили сундуки, домашнюю утварь, кровать нинбоского образца, принадлежащую жене сюцая. Он с трудом верил собственным глазам, но твердо решил не подходить ближе и в конце концов вернулся в свой храм.

В храме была черная, как лак, тьма; А-Кью тщательно запер ворота и ощупью пробрался в свою каморку. Он улегся и постепенно успокоился. Итак, люди в белых шлемах и белых панцырях действительно пришли, но его не позвали; они повытаскивали много хороших вещей, но на его долю ничего не досталось...

— А все потому, что «фальшивый заморский чорт», будь он проклят, не позволил мне присоединиться к революции. Если бы не это, разве здесь не было бы и моей доли? — воскликнул А-Кью.

Чем больше он думал об этом, тем больше злился, и под конец душа его переполнилась горечью. В гневе он тряхнул головой и прошептал:

— Вот как! Мне не позволили присоединиться, а вам можно. Ну, погоди, «фальшивый заморский чорт»! ты — мятежник, а мятежникам — ш-ша! — рубят головы... Вот я возьму и донесу... Посмотрим тогда, как тебя заберут в ямынь и отрубят тебе голову... Всей твоей семье отрубят... ш-ша... ш-ша!

IX

Великое завершение

Ограбление дома Чжао вызвало у жителей Вэйчжуана удовлетворение и вместе с тем страх. Те же чувства испытывал и А-Кью. Однако спустя четыре дня, ровно в пол-

ночь, А-Кью был внезапно схвачен и отправлен в город. В эту темную ночь отряд солдат, отряд самообороны, отряд полиции и еще пять сыщиков, воспользовавшись темнотой, незаметно подошли к Вэйчжуану, окружили храм и выставили пулемет прямо против ворот. А-Кью не показывался. Долгое время отряды не двигались с места. Наконец начальник потерял терпение и назначил награду в двадцать тысяч вэней тому, кто первый проникнет к А-Кью. Тогда два солдата из самообороны отважились перелезть через стену. Вслед за ними отряды соединенными усилиями проникли в храм и захватили сонного А-Кью, который совсем очнулся, только когда его проволокли мимо пулемета.

В город А-Кью привезли в полдень. В старом полуразрушенном ямыне солдаты, миновав пять или шесть тесных проходов, втолкнули его в какую-то каморку. Он споткнулся и не успел еще выпрямиться, как сбитая из неотесанных бревен дверь захлопнулась, ударив его по пятке. В каморке были глухие стены без окон; привыкнув к темноте и оглядевшись, А-Кью заметил в углу двух человек.

Сердце у него билось тревожно, но он не унывал, потому что его каморка в храме Земледелия была ничем не лучше. Его соседями оказались двое деревенских парней. А-Кью понемногу разговорился с ними. Один из них сообщил, что господин цзюйжэнь требует с него долг [1], который не уплатил его дедушка, а другой и сам не знал, за что он сюда попал. Когда они в свою очередь стали расспрашивать А-Кью, он бойко ответил:

— Потому что я захотел присоединиться к революции.

В этот же день, к вечеру, его выволокли из каморки и втолкнули в большой зал, где прямо против входа восседал старик с начисто выбритой блестящей головой. А-Кью подумал, что это монах, но тут же заметил, что старика охраняют солдаты. В зале было еще человек десять в халатах. У некоторых были бритые головы, как у старика, у других волосы длиной в целый чи висели по плечам, как у «фальшивого заморского чорта». У всех были злые лица, и они строго смотрели на А-Кью. Он сразу же сообразил, что сидящий перед ним старик — важная птица.

---

[1] В старом Китае долги переходили по наследству.

Ноги А-Кью сами собой подогнулись, и он опустился на колени.

— Говори стоя! Не становись на колени! — закричали люди в халатах.

А-Кью, конечно, их понял, но чувствовал, что не устоит на ногах. Тело непроизвольно клонилось, и в конце концов он снова опустился на колени.

— Рабская душа! — с презрением сказали люди в халатах, но вставать его больше не заставляли.

— Говори всю правду, как было дело! Этим ты облегчишь свою участь. Мне уже все известно. Признаешься — отпустим тебя! — глядя в лицо А-Кью, тихо и отчетливо произнес старик с блестящей головой.

— Сознавайся! — закричали люди в халатах.

— Вначале... я хотел... сам присоединиться... — запинаясь, ответил сбитый с толку А-Кью.

— Почему же ты не пошел? — ласково спросил старик.

— «Фальшивый заморский чорт» не позволил...

— Врешь! Теперь поздно выкручиваться... Где твои сообщники?

— Чего?

— Где люди, которые ограбили дом Чжао?

— Они не позвали меня. Они сами все унесли, — возмущенно заявил А-Кью.

— А куда они ушли? Скажи, и мы тебя отпустим, — добавил старик еще ласковей.

— Не знаю... Они не позвали меня...

Тут старик глазами подал знак, и через минуту А-Кью снова очутился в каморке.

На следующее утро его опять вытащили и отвели в большой зал. Там все было, как и накануне. На возвышении сидел тот же старик с блестящей головой, и А-Кью опять стал на колени.

— Можешь ты еще что-нибудь добавить? — ласково спросил старик.

А-Кью подумал, но сказать ему было нечего, и он ответил:

— Нет.

Человек в халате принес бумагу и хотел всунуть в руку А-Кью кисточку. А-Кью перепугался так, что у него едва

душа не вылетела вон: он никогда и не думал, что его рука может соприкоснуться с кисточкой. Он просто не знал, как ее держать. Человек указал ему место на бумаге и приказал расписаться.

— Я... Я... не умею писать, — смущенно сказал А-Кью, неумело зажимая кисточку в кулаке.

— И не надо. — Нарисуй круг — и все.

А-Кью хотел нарисовать круг, но рука его дрожала; тогда человек разложил бумагу на полу, А-Кью наклонился и, собрав все силы, начал выводить круг. Он боялся, что над ним будут смеяться. Он очень старался нарисовать круг круглым, но проклятая кисточка оказалась не только тяжелой, но и непослушной. Дрожа от напряжения, он почти уже соединил линии круга, но вдруг кисточка ткнулась немного в сторону, и круг вышел похожим на семечко тыквы.

А-Кью было стыдно, что он не умеет рисовать круги, но человек, не обратив на это внимания, отобрал у него бумагу и кисточку; потом его вывели из зала и опять втолкнули в каморку.

А-Кью не очень обеспокоился. Он считал обычным делом, что в этом мире человека должны иногда куда-то вталкивать и откуда-то выталкивать. Но вот, что круг вышел не круглым, — это, пожалуй, может лечь темным пятном на все его «деяния». Немного погодя А-Кью все же успокоился и подумал: «Зато мои внуки будут рисовать круги совсем круглые...» С этой мыслью он уснул.

А господин цзюйжэнь в эту ночь никак не мог уснуть: он повздорил с командиром батальона. Господин цзюйжэнь требовал, чтобы прежде всего нашли его украденные сундуки, а командир батальона главной своей задачей считал устрашение, — чтобы другим неповадно было. В последнее время он совершенно ни во что не ставил господина цзюйжэня; разговаривая с ним, стучал кулаком по столу и, наконец, заявил:

— Расправиться с одним — значит устрашить сотню! Вот смотри, — я только дней двадцать как стал революционером, а уже произошло больше десяти ограблений, и ни одно из них до сих пор не раскрыто... Каково это для моей репутации? А когда мне удалось, наконец, поймать преступника, ты мне мешаешь. Не суйся! Этими делами я распоряжаюсь...

Господину цзюйжэню трудно было спорить, но он держался твердо и сказал, что если не будут найдены его сундуки, он немедленно откажется от своей новой должности помощника по гражданскому управлению, на что командир батальона ответил:

— Сделай одолжение!

По этой причине господин цзюйжэнь и не мог уснуть всю ночь. К счастью, на другой день он все же не отказался от своей должности.

На следующее утро после бессонной ночи господина цзюйжэня А-Кью еще раз выволокли из каморки. В большом зале на возвышении сидел все тот же старик с блестящей головой, и А-Кью опять опустился на колени.

— Можешь ли ты еще что-нибудь добавить? — ласково спросил старик.

А-Кью подумал, но сказать ему было нечего, и он опять ответил:

— Нет.

Сразу же какие-то люди — кто в халате, кто в куртке — подошли и через голову натянули на него кусок белой заморской материи с черными иероглифами *. А-Кью очень огорчился, потому что это напоминало траур. Ему скрутили руки на спине и выволокли из ямыня.

А-Кью втащили на телегу, и несколько человек в коротких куртках уселись вместе с ним. Телега сейчас же тронулась. Впереди шли солдаты с заморскими ружьями и отряд самообороны; по обеим сторонам улицы толпились зеваки, а что делалось позади, А-Кью не видел. Вдруг у него мелькнула мысль: уж не хотят ли отрубить ему голову? В глазах у него потемнело, в ушах зазвенело, и он как будто потерял сознание. Но, придя в себя, он подумал, что в этом мире у человека, вероятно, бывают и такие минуты, когда ему отсекают голову.

А-Кью знал дорогу и не мог понять, почему они не направляются к месту казни. Он еще не догадывался, что его возят по улицам напоказ для устрашения других. Но если бы он и догадался, то все равно подумал бы, что в этом мире у человека, вероятно, бывают и такие минуты.

Наконец он понял, что этот извилистый путь ведет на площадь, где совершаются казни, а там — ш-ша! — и голову долой. Он растерянно глядел по сторонам. Всюду,

как муравьи, суетились люди, и неожиданно в толпе на краю дороги он заметил У-ма. Давно они не встречались... Значит, она работает в городе? И вдруг А-Кью стало стыдно, что он еще не проявил своей храбрости: ведь он не спел ни одной песни *. Мысли вихрем закружились в его голове. «Молодая вдова на могиле» — нет, это недостаточно величественно. «Мне жаль» из «Битвы тигра с драконом» — тоже слабо. «В руке держу стальную плеть» — вот это, пожалуй, годится... А-Кью хотел уже взмахнуть рукой, но вспомнил, что руки связаны, и не запел...

— Пройдет двадцать лет, и снова появится такой же!.. — возбужденно выкрикнул он незаконченную фразу. Он раньше никогда не произносил эти слова, они родились сами собой.

— Хао! Хао! [1] — донеслось из толпы, как волчий вой. Телега безостановочно двигалась вперед, под одобрительные возгласы толпы. Внезапно А-Кью увидел У-ма; но она, не замечая его, с увлечением глазела на солдат с заморскими ружьями.

Тогда А-Кью перевел взгляд на толпу, провожавшую его криками.

Мысли снова беспорядочным вихрем закружились у него в голове. Четыре года назад у подножия горы он повстречался с голодным волком; волк неотступно шел за ним по пятам и явно хотел сожрать его. А-Кью тогда очень испугался; к счастью, в руках у него был топор; это придало ему храбрости, и он добрался до Вэйчжуана. Но А-Кью навсегда запомнились злые и трусливые волчьи глаза, — они сверкали, как два дьявольских огонька, и словно впивались в его тело... И теперь, глядя в толпу, А-Кью увидел никогда невиданные им прежде страшные глаза, пронизывающие, сверлящие. Они неотступно следили за ним, они уже поглотили его слова и хотели пожрать его самого. Не приближаясь и не отступая, они следовали за ним.

Эти глаза слились в один глаз и грызли душу А-Кью.

«Спасите!»

Но А-Кью не выкрикнул этого слова. В глазах у него потемнело, в ушах зазвенело, и ему показалось, будто все его тело разлетелось мелкой пылью.

---

[1] Хао — хорошо.

Коснемся последствий этого события. Самая большая неприятность выпала на долю господина цзюйжэня: похищенные сундуки так и не нашлись, и все его семейство заливалось слезами. Большая неприятность случилась и в семействе почтенного Чжао: во время поездки сюцая в город, — где он хотел пожаловаться властям, — безбожные революционеры не только начисто срезали у него косу, но еще заставили его сделать им подношение в двадцать тысяч вэней; и вся его семья тоже проливала слезы. С этого дня потерпевшие снова почувствовали влечение к завещанной веками старине.

Что касается общественного мнения, то в Вэйчжуане не было двух мнений, — все, конечно, утверждали, что А-Кью был виновен. Бесспорным доказательством служила его казнь. Не будь он виновен, разве его расстреляли бы? Общественное мнение в городе тоже было для него неблагоприятно. Почти все остались недовольны, считая, что расстрел не такое интересное зрелище, как отсечение головы. И потом, что это за преступник! Его так долго возили по улицам, а он не спел ни одной песни! Зря за ним ходили, только время потеряли...

Декабрь 1921 г.





БЛЕСК

Было уже за полдень, когда Чэнь Ши-чэн, просмотрев вывешенный на стене список лиц, выдержавших экзамены при уездном управлении, направился домой. Он пришел в управление довольно рано и стал искать в списке свою фамилию.

Иероглифов Чэнь там было немало, и все они мелькали перед его глазами, словно ни один из них не хотел оказаться позади другого. Но среди них не было иероглифа Чэнь с именем Ши-чэн.

Снова и снова просматривал он двенадцать листов, заполненных разными именами, все еще надеясь отыскать свое имя.

Все, кто приходил взглянуть на список, давно уже разбрелись, и только он продолжал одиноко стоять перед наружной стеной у входа в экзаменационный зал.

Близилась зима. Холодный ветер шевелил короткие с проседью волосы Чэня, но еще теплые лучи солнца согревали его лицо, которое становилось все более серым, словно от солнечного удара. В его припухших и красных от усталости глазах появился какой-то странный, резкий блеск. Чэнь уже не различал ни одного иероглифа: перед ним плыли бесконечные черные пятна, похожие на птиц.

Как хорошо! Вот он получает первую степень и едет в столицу провинции. Там он блестяще сдает экзамен на следующую ученую степень... Почтенные, солидные люди хотят породниться с ним, все уважают его и глубоко рас-

каиваются, что раньше относились к нему пренебрежительно. От всего этого начинает кружиться голова... Вот он прогоняет тех, кто ютится в его полуразвалившемся жилище. Нет! Чего там — прогоняет, попросту сам оттуда переезжает. У него большой новый дом. Перед воротами на шесте флаг, табличка... А дальше — кто знает, может быть, удастся достичь положения столичного чиновника. А если ничего этого не будет? Нет! Лучше уж не думать...

И вот теперь весь будущий порядок его жизни, о котором он мечтал изо дня в день, развалился, словно сахарная башенка в воде.

Разбитый, он машинально повернулся и, ничего перед собой не видя, поплелся домой.

Едва переступил он порог своего дома, как семеро его учеников хором принялись зубрить урок. Чэню показалось, что над его ухом ударили в барабан, он вздрогнул от неожиданности. Перед его глазами поплыли детские головки с торчащими косичками, постепенно заполняя всю комнату. Чэню трудно было держаться на ногах, он присел на скамью. Ученики исподтишка наблюдали за ним.

— Ступайте, — тоскливо сказал он после недолгого молчания.

Дети наспех собрали свои книги и тотчас же исчезли, как струйки дыма, а у Чэнь Ши-чэна перед глазами все еще мелькали детские головки, то сливаясь в черные круги, то принимая причудливые очертания.

— Ну вот, на этот раз все кончено!

В испуге Чэнь подскочил. Голос прозвучал совершенно отчетливо над его ухом. Он обернулся — никого не было. Вдруг ему опять показалось, что у самого его уха ударили в барабан; словно повинуясь кому-то, Чэнь шопотом повторил:

— Ну вот, на этот раз все кончено!

Резким движением вскинув руку, он принялся высчитывать по пальцам: ...одиннадцать, двенадцать... считая и нынешний год — шестнадцать раз сдавал он экзамены, но так и не нашлось экзаминаторов, которые по достоинству оценили бы его литературные сочинения. Жаль, конечно! Ведь это все равно, что глаз без зрачка. Чэнь неожиданно засмеялся. Но тут же почувствовал досаду и, быстро вынув из книги переписанное набело сочинение и

экзаменационный билет, направился к выходу. В дверях он остановился, — какой-то яркий блеск ослепил его. В висках бешено застучало. Ему показалось, что над ним все насмехаются, даже куры... У него нехватило сил преодолеть страх, и он закрыл дверь, не решившись выйти из комнаты. Глаза его горели. Перед ним маячили какие-то странные предметы, обломки его будущего — развалившаяся сахарная башенка. Она росла, увеличивалась, закрывая все на его пути.

Очаги в соседних домах давно погасли, там уже успели перемыть всю посуду, а Чэнь Ши-чэн так и не вспомнил об ужине. Все, кто жил поблизости, хорошо знали по опыту прежних лет, что когда наступает конец ежегодным экзаменам, в глазах Чэнь Ши-чэна появляется необычайный блеск, и тогда лучше пораньше запереться у себя дома.

Постепенно голоса смолкли, потом погасли огни, и только на холодном ночном небе медленно всходила одинокая луна. Чэнь открыл двери и вышел.

Синее небо было, как море, в нем расплывались легкие облака, похожие на след от меловой кисти, опущенной в сосуд с водой. Луна холодными лучами обливала Чэнь Ши-чэна. Она казалась заново отполированным металлическим зеркалом, излучающим обманчивый и загадочный свет. Этот свет пронизывал все существо Чэня, и луна отражалась в его глазах, как блестящий овал.

Чэнь ходил взад и вперед по двору. Кругом царила тишина. Постепенно на него нисходило успокоение, глаза его прояснились. Вдруг его покой вновь был нарушен. Он отчетливо услышал чей-то торопливый и приглушенный голос:

— Нагнись влево, нагнись вправо...

Встревоженный, он склонил голову и стал напряженно прислушиваться. Тот же голос, но уже более громко, повторил:

— Нагнись вправо...

И его осенило. Он вспомнил летние ночи, проведенные в этом дворе, полном прохлады. В то время семья его еще не была разорена. Ему тогда было лет десять, и в душные ночи он спал во дворе. Бабушка укладывала его в бамбуковый лежак и, подсев к нему, рассказывала много удивительных преданий. Она повторяла то, что

слышала еще от своей бабушки. Прежде род Чэнь был очень богат, и на том месте, где теперь стоит их дом, когда-то был родовой склеп, в котором предки закопали несметное количество серебра. Его найдет удачливый потомок — тот, кто разрешит загадку: «Нагнись влево, нагнись вправо, шаг вперед, шаг назад, здесь сосуды с золотом и серебром лежат».

Над этой загадкой, пытаясь разрешить ее тайком от всех, Чэнь частенько ломал голову. Но, увы, каждый раз, когда ему казалось, что наконец-то он разгадал ее, — предчувствие говорило ему, что он ошибся.

Однажды Чэнь уверил себя, что клад зарыт под тем домом, который сдан в аренду семье Тан, но у него нехватило смелости пойти туда и начать рыть. Спустя некоторое время он почувствовал, что ошибся и на этот раз.

Пол его собственного дома был весь изрыт. Он копал землю после неудачных экзаменов, а потом не мог без стыда смотреть на следы этой бессмысленной работы.

Вот и сегодня металлический блеск снова искушал и не давал покоя Чэнь Ши-чэну. Он медлил лишь потому, что хотел проверить силу искушения. И наконец он не выдержал и, обернувшись, заглянул в открытую дверь своего дома.

Там, словно овальный белый веер, мерцал металлический блеск.

— Все же это здесь! — воскликнул Чэнь и с проворством льва ринулся в дом. Он вошел, и блеск тотчас исчез. В старом запущенном доме он увидел лишь несколько сломанных столиков для книг. Чэнь стал пристально вглядываться. Прошло некоторое время, и блеск опять появился. Он был ярче и чище серного пламени, нежнее утренней дымки и исходил из-под прислоненного к восточной стене письменного стола.

Чэнь Ши-чэн львиным прыжком бросился за дверь и стал искать заступ. Он наткнулся на какую-то черную тень и отпрянул в страхе. Затем он зажег лампу. Заступ был на месте. Отодвинув стол, Чэнь вышиб заступом четыре огромных плиты и присел на корточки — внизу был чистый желтый песок. Закатав рукава, Чэнь выгреб песок, под ним оказалась черная земля. Затаив дыхание, он продолжал осторожно рыть землю, и в ночной тишине разносились глухие удары тяжелого заступа.

Глубокую яму выкопал Чэнь, но сосуды с серебром все еще не показывались. Охваченный злобой, он крикнул сдавленным голосом, руки его сводило от усталости. В этот момент острие заступа стукнуло обо что-то твердое. Чэнь отбросил заступ и торопливо ощупал твердый предмет. Это был большой кирпич, а под ним опять черная земля. Чэнь стал яростно выгребать ее руками и вдруг нашел что-то маленькое и твердое. Это была старая, изъеденная землей монета. Тут же оказалось несколько фарфоровых черепков.

У Чэня оборвалось сердце. Обливаясь потом, он продолжал выгребать землю и вскоре наткнулся на какой-то странный предмет, похожий на подкову, но наощупь очень хрупкий. Чэнь осторожно взял его в руки, чтобы разглядеть при свете лампы. Это была истлевшая челюсть, с сохранившимися остатками зубов. «Это нижняя челюсть», — подумал Чэнь, продолжая внимательно рассматривать находку. Вдруг челюсть как будто ожила и задрожала в его руках. Ему показалось, что она захохотала и произнесла:

— Ну вот, на этот раз все кончено.

Чэнь похолодел от ужаса. Пальцы его разжались, и челюсть бесшумно скатилась в яму. Он выбежал из дому и притаился в тени крыш. Он почувствовал, что больше не осмелится войти в дом, и, собравшись с духом, украдкой заглянул в открытую дверь: там попрежнему теплился огонек лампы и скалилась в хохоте челюсть. Прислонившись к стене, он закрыл глаза. Ночная тишина успокаивала его.

— Здесь ничего нет... ступай в горы... — вдруг опять раздался над его ухом глухой шопот.

Смутное воспоминание мелькнуло в усталом мозгу Чэня: еще днем, на улице, ему послышались эти слова. Не к чему дожидаться, чтобы они прозвучали еще раз. Он быстро запрокинул голову. Луна клонилась за вершины Сигафын. Эти далекие горы стояли у него перед глазами. Их темные зубчатые вершины высоко вздымались к небу, а вокруг беспредельно разливался белый блеск. Опять этот неуловимый блеск!

Итти в горы!

Раздался звук приоткрывшихся и сейчас же захлопнувшихся ворот. Затем все стихло, и во дворе воцарилась ничем не нарушаемая тишина. Ярко вспыхнувший огонек

лампы осветил опустевшую комнату и вырытую в ней яму, зашипел и погас. В лампе догорели остатки масла.

На рассвете у западных городских ворот раздался голос: «Откройте ворота...» В этом дрожащем, как паутинка на ветру, голосе прозвучали и надежда и отчаяние.

На следующий день кто-то увидел мертвое тело в озере Ван-лю, в семи ли от западных городских ворот. Эта новость быстро распространилась по всей деревне, прежде чем о ней узнали в полиции. Власти приказали жителям вытащить утопленника на берег. Это был мужчина лет пятидесяти с лишним, среднего роста, без бороды. Нашлись люди, которые признали в нем Чэнь Ши-чэна, но соседям лень было пойти взглянуть, а родственников не нашлось. После следствия, произведенного уездным начальством, труп был погребен местным полицейским.

Причина смерти не вызывала никаких сомнений. Хотя на утопленнике не было одежды, но это не могло навести на подозрение в убийстве с целью грабежа. К тому же чиновник, производивший дознание, установил самоубийство, потому что ногти утопленника были забиты илом. Очевидно, идя ко дну, он цеплялся и барахтался в надежде спасти свою жизнь.

Июнь 1922 г.





КРОЛИКИ И КОШКА

Сань тайтай [1] снимала у нас небольшой домик на заднем дворе. Как-то летом она купила своим ребятишкам пару белых кроликов. Их, видимо, совсем недавно разлучили с матерью. Неразумные животные, с наивным простодушием в глазах, навострив длинные розовые ушки, шевелили ноздрями. Потом, наверно от непривычки к людям и перемены места, в их глазах появилось испуганно-недоверчивое выражение.

На базаре около кумирни, если пойти самому, можно купить пару кроликов за два мао [2], а Сань тайтай истратила целый юань и только потому, что послала служанку, которая купила кроликов в лавке.

Больше всех, конечно, радовались ребятишки. Они с визгом обступили крольчат и рассматривали их со всех сторон. Подошли и взрослые. Прибежала даже собака Эс. Она бросилась к кроликам, понюхала воздух и отскочила в сторону. Сань тайтай прикрикнула на нее:

— Эс, не смей кусать!

Собаку точно по голове ударили, она убежала и больше не подходила к кроликам. В доме нельзя было их держать: они рвали бумагу и глодали ножки деревянной мебели. Поэтому их поселили во дворе, где росло тутовое дерево. На землю падали зрелые ягоды — любимое лакомство кроликов. Порой они даже отказывались от зелени,

---

[1] Тайтай — госпожа.

[2] Мао — денежная единица, равная одной десятой юаня.

которую им приносила Сань тайтай. Стоило только прилететь во двор воронам или галкам, как кролики, выгнув тельце, изо всех сил били задними ногами по земле и подскакивали кверху, взлетая, как комочки снега. Птицы пугались и улетали, а потом перестали прилетать и вовсе.

— Вороны и галки — это не страшно, — говорила Сань тайтай, — они могут только утащить немного корма, а вот большая черная кошка, та, что сидит на низенькой стене и не сводит хищного взгляда с кроликов, — это очень опасно. Ее-то и надо остерегаться. Хорошо, что Эс вечно враждует с кошкой, может быть и обойдется, — успокаивала себя Сань тайтай.

Ребятишки часто брали кроликов на руки и играли с ними. А те, дружелюбно подняв ушки, шевелили ноздрями и смирно сидели на руках у детей, но как только представлялась возможность, соскакивали и убегали. Ночью они спали в маленьком деревянном ящике, на дно которого была постлана рисовая солома; он стоял под скатом крыши, у задних окон домика Сань тайтай.

Прошло несколько месяцев. Вдруг кролики стали рыть землю. Рыли они очень быстро — передними лапками захватят, задними отбросят... К полудню была готова глубокая норка. Все недоумевали, зачем им понадобилась нора? Потом присмотрелись и заметили, что у крольчихи выросло брюшко. На следующий день они натаскали в норку сухой травы и листьев.

Мы все очень радовались: скоро увидим маленьких крольчат! Сань тайтай строго запретила детям брать кроликов на руки. Моя мать тоже была очень довольна. Она говорила, что как только новорожденные немного подрастут, она попросит у Сань тайтай двух крольчат, и они будут жить под нашими окнами.

С тех пор как кролики переселились в свой дом, они лишь изредка выходили пощипать свежей зелени, а потом совсем перестали показываться. Никто не знал, то ли у них есть запас корма, то ли они совсем не едят. Так прошло больше десяти дней.

— Наконец-то наша парочка опять появилась, — радостно сообщила мне Сань тайтай, — наверно, у них родились маленькие. Боюсь, не подохли бы только; не похоже, что крольчиха кормит детенышей... слишком много молока у нее остается.

В ее словах звучала тревога, но мы ничем не могли ей помочь.

Однажды в солнечный безветреный день, когда ни один листок не шевелился на дереве, я услышал во дворе смех и вышел посмотреть, что случилось. У задних окон домика Сань тайтай собрались соседи и смотрели, как по двору прыгает маленький кролик. Он был гораздо меньше, чем его родители, когда их купили, но уже мог бить задними ногами по земле и прыгать. Детишки наперебой рассказывали мне, что они видели еще одного крольчонка, который только высунул голову из норки и сейчас же спрятался обратно.

— Это, наверно, его младший братец...

Кролик порылся в траве и листьях и стал их глодать. Вдруг его отец, который сам ничего не ел, вырвал у него изо рта стебли. Ребятишки громко рассмеялись. Маленький испугался и поскакал в норку, большой за ним; передними лапками отец подталкивал своего детеныша, а потом сгреб землю и закрыл вход.

Наш двор оживился, жильцы часто выглядывали из окон. Но вскоре кролики исчезли. Как раз в это время установилась пасмурная погода. Сань тайтай была уверена, что злая черная кошка погубила кроликов, а я говорил, что этого не может быть.

— Стало холодно, вот они и попрятались. Солнце выглянет — опять покажутся.

Но солнце выглянуло, а кроликов все не было. Понемногу все забыли о них. Только Сань тайтай, наверно, потому, что она кормила их, часто вспоминала кроличью семью. Однажды она вышла во двор и случайно заметила в углу у стены другую норку. Присмотревшись, она разглядела около старой норки неясные отпечатки чьих-то лапок. Трудно было предположить, что следы даже самого большого кролика могут быть такими глубокими. Она снова заподозрила большую черную кошку, которая почти каждый день сидела на нашей стене. Сань тайтай не могла удержаться, чтобы не раскопать эту норку, и тут же взялась за мотыгу. Ее мучили сомнения, но она не теряла надежды увидеть маленьких белых кроликов. Раскопав землю, она обнаружила пустое гнездо из мятой травы, тщательно выложенное кроличьим пухом. Наверно, оно было приготовлено для новорожденных, но там не было

никаких следов маленьких белоснежных крольчат. Не было и того младшего братца, который высовывал голову, не выходя из норы. Досада и разочарование заставили Сань тайтай раскопать новую норку в углу у стены. Как только она копнула, оттуда выскочили два больших кролика. Сань тайтай не помнила себя от радости: значит, кролики переселились! В гнезде из травы и листьев, покрытых белым пухом, она увидела семь крошечных кроликов. Их тельца были совсем розовые и глазки еще не открылись.

Теперь все стало ясно. Догадка Сань тайтай была правильной: кролики боялись кошки и переселились в новое место. Чтобы больше не подвергать их опасности, Сань тайтай взяла семерых малышей, положила в деревянный ящик и перенесла их к себе домой. Больших она тоже сунула в ящик, чтобы они кормили детенышей. Она не только возненавидела черную кошку, но была недовольна взрослыми кроликами. Сань тайтай утверждала, что прежде погибли не только те два крольчонка, которых мы видели, но и еще несколько. Не может быть, чтобы крольчиха родила тогда лишь двоих; она просто не всех кормила, и те, кто не мог бороться за жизнь, поумирали. Пожалуй, это тоже было верно. Из семи новорожденных двое были очень тощие. Сань тайтай, как только у нее было свободное время, брала крольчиху и поочередно клала к ее брюшку слабых крольчат, чтобы они могли насосаться досыта.

Мать говорила мне, что никогда не слыхала о таком хлопотном способе кормить кроликов. Доброта Сань тайтай заслуживает, чтобы занести ее в книгу «У-шуан» [1].

Кроличья семья процветала, и все жильцы были этому рады. Но первые крольчата все-таки погибли. Я вспоминаю о них, и мной овладевает грусть. В полночь, сидя у лампы, я невольно думаю, что вот погибли два живых существа и никто — ни люди, ни чорт — не знает даже, когда это случилось. От них просто не осталось никакого следа. Даже собака Эс, и та не залаяла. Мне вспоминается прошлое... Прежде, когда я еще жил в доме землячества, сидя на рассвете под большой акацией, я часто видел перья жаворонка: не было сомнений, что где-то орудовал кор-

[1] У-шуан — сборник стихов о подвигах легендарных героев древнего Китая.

шун. В полдень приходил дворник, подметал двор, убирал перья, и никто не знал, что здесь погибла чья-то жизнь.

Однажды, проходя по улице мимо Четырех западных арок, я видел, как извозчик насмерть задавил маленькую собачонку. На обратном пути я уже не заметил никаких следов этого происшествия. Равнодушно шагали люди, не зная, что здесь погибла жизнь... В летние ночи часто можно слышать за окном протяжное жужжание: паук пожирает муху. Меня это не трогает, а другие ничего и не слышат...

Если можно винить творца, то, по-моему, только в том, что жизнь так легко зарождается и так легко гибнет.

«Мяу-мяу!» — две кошки за окном опять затеяли драку...

— Синь-эр, это ты там бьешь кошек? — спрашивала меня мать.

— Нет, они сами дерутся... так вот они и дадут себя бить! — отвечал я.

Моя мать часто упрекала меня за то, что я наказывал кошек. А после того, как погибли крольчата, она боялась, что я беспощадно расправлюсь с хищницей. В семье меня всегда считали врагом кошек. Обычно я гонял их, когда они затевали кошачьи свадьбы. Я преследовал их за то, что они кричали, кричали так, что невозможно было уснуть. Я полагал, что в этом случае совсем не обязательно так пронзительно, так невыносимо вопить. А после того, как исчезли крольчата, я решил, что у меня есть «законное право». Моя мать была очень добра, и иногда в ответ на ее упреки у меня вырывались слова, огорчавшие ее.

Творец слишком необдуманно действует. Я не могу покориться этому, хотя, может быть, в чем-то и способствую ему.

«Черная кошка не долго будет так высокомерно разгуливать по нашей стене», — воинственно думал я, невольно посматривая на ящик с книгами, где было спрятано мое тайное оружие.

Октябрь 1922 г.





ДЕРЕВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ[1]

За последние двадцать лет я только два раза был в театре *. Все как-то не было настроения или просто не представлялось случая. Пьесы, которые я видел, не заинтересовали меня, оба раза я ушел, не досмотрев спектакль до конца.

Впервые мне довелось побывать в китайском театре в 1911 году, в первый год Китайской республики, когда я только что приехал в Пекин.

— Пекинский театр самый лучший, — сказал мне как-то один из моих друзей, — и если ты его не видел, так что ты вообще видел на свете?

Я подумал, что, может быть, действительно интересно побывать в театре, тем более в Пекине, и мы в тот же день пошли посмотреть какую-то пьесу. К началу мы опоздали, об этом можно было догадаться еще издали по грохоту барабанов, доносившемуся из театра. Мы с трудом пробились к входу, и у меня сразу же замелькали перед глазами яркие красные и зеленые пятна. Зал был полон. Осмотревшись, мы заметили несколько свободных мест в середине зала и стали протискиваться туда. Но занять их не удалось: какой-то человек начал нам что-то объяснять. Оглушенный грохотом барабанов, я не мог ра-

---

[1] В китайских деревнях до настоящего времени широко распространены обрядовые театральные зрелища, часто продолжающиеся несколько дней; они обычно устраиваются в честь духа — покровителя данной местности — или бога земли.

зобрать его слов, но догадался: «Занято, занято... нельзя!» Нам пришлось отступить. Тогда другой человек с блестящей косой указал нам свободные места на длинной и узкой боковой скамье. Однако скамья оказалась такой высокой, что если бы я сел на нее, мои ноги не доставали бы до полу примерно на две трети моего роста. Сначала у меня просто нехватило духа влезть на нее, а потом мне вдруг пришло в голову, что места эти очень напоминают скамью, предназначенную для наказания палками. Волосы у меня стали дыбом, и я, не раздумывая, направился к выходу. Я шел, не оглядываясь, и, когда был уже довольно далеко от театра, вдруг услышал голос моего друга:

— Ты что же не отвечаешь? Сколько раз я тебя окликал!

— Извини, дружище, — ответил я, — у меня в ушах до сих пор стоит грохот барабанов. Я просто не слышал тебя!

Долго я не мог без удивления вспоминать о моем первом посещении театра; видимо, я ушел тогда потому, что пьеса была неинтересной или же я не создан для такого театра.

Второй раз я был в театре, позабыл уж в каком году, но точно помню, что это был благотворительный спектакль в пользу пострадавших от наводнения в провинции Хубэй. Пьесы шли при участии популярных артистов пекинского «Первого театра». В то время знаменитый артист Тань Цзяо-тань[1] еще был жив. В спектакле выступал его подражатель известный актер Сяо Цзяо-тань. Билет стоил два юаня. Сборщики пожертвований так наседали, что я вынужден был купить билет. Может быть, я сделал это еще и потому, что многие досужие люди советовали мне не упустить случая послушать такую знаменитость, как Сяо Цзяо-тань. К этому времени я позабыл о пережитой когда-то пытке барабанным грохотом и решил пойти в «Первый театр». Думаю, что имела значение еще и высокая цена билета: жаль было бросить его неиспользованным. Я знал, что Цзяо-тань будет выступать в конце и что в «Первом театре» заведен новый порядок — места

---

[1] Тань Цзяо-тань — известный китайский артист, исполнявший роли «благородных старух» — «лаодань» и пользовавшийся наибольшей славой в конце XIX и в начале XX века.

там нумерованные, и мне не придется занимать свое место с боя. Спокойно дождавшись девяти часов, я отправился на спектакль. Я никак не думал, что театр будет переполнен, но там оказалась такая давка, что некуда было ступить. Я с трудом втиснулся в толпу зрителей и стал издали слушать пение артиста, исполняющего роль «благородной старухи». В уголках рта актер держал горящие бумажные трубки, вокруг него кружился злой дух — слуга князя ада. На этот раз пьеса меня заинтересовала, и я смотрел ее очень внимательно. Я догадался, что актер изображает мать Му Ляня [1], потому что на сцене появился буддийский монах. Я не знал фамилии актера и спросил напиравшего на меня слева благообразного толстяка. Тот бросил на меня косой, полный презрения взгляд и процедил: «Гун Юнь-фу». Глубоко пристыженный и огорченный своим невежеством и неотесанностью, я покраснел и, решив больше никого ни о чем не спрашивать, стал внимательно смотреть на «сяодань», «хуадань» и «лаошэн» *.

На сцену выходили все новые неизвестные мне артисты и пели, пели без конца. Эпизод закончился битвой — сражались все действующие лица. Потом еще была потасовка, но в ней участвовало только несколько актеров.

Так это и тянулось с девяти до десяти часов, с десяти до одиннадцати, с одиннадцати до одиннадцати с половиной и с одиннадцати с половиной до двенадцати часов ночи, а Цзяо-тань все не появлялся.

Никогда в жизни никого и ничего не ждал я с таким нетерпением. Сопение толстяка, весь вечер напиравшего на меня, грохот барабанов, мелькание красных и зеленых пятен — все это продолжалось до полуночи. Наконец мое терпение иссякло, я встал и почувствовал, как сопящий толстяк-шэньши * немедленно занял освободившееся место. Напрягая все силы, я стал проталкиваться к выходу, ощущая за своей спиной дыхание толпы. Назад вернуться я не мог, мне оставалось только пробиваться вперед. В конце концов я добрался до двери и вышел на улицу. Было очень тихо. Рикши, выстроившиеся в ряд, ожидали разъезда. Прохожих почти не было. Возле театра стояло несколько зевак. Задрав головы, они глазели на афиши.

---

[1] Героиня из популярной пьесы-мистерии «Му Лянь спасает свою мать».

В стороне безучастно стояла кучка мужчин. «Наверно, — подумал я, — они ждут женщин, чтобы проводить их домой».

Цзяо-тань так и не появился...

Ночной воздух показался мне прозрачным и свежим. За все время моего пребывания в Пекине ни разу еще не было такого замечательного воздуха.

Этой ночью я простился с китайским театром. С тех пор, когда мне случалось проходить мимо какого-нибудь театра, я даже не смотрел на афиши. Наши пути разошлись.

Не так давно мне случайно попала в руки японская книга о китайском театре. К сожалению, я забыл имя автора и название книги. В ней была глава, в которой подробно описывались постановки старого китайского театра, с его оглушительной музыкой, пронзительным пением, акробатическими прыжками, от которых у зрителей голова идет кругом. Автор книги советовал ставить эти пьесы на открытом воздухе и смотреть их издали; тогда, по его мнению, они будут производить должный эффект. Автор высказал то, что я сам бессознательно чувствовал. В связи с этим в моей памяти ожило глубоко запавшее с детских лет воспоминание о лучшей из лучших постановок на открытом воздухе.

Я понял, что и в пекинских театрах я находился под впечатлением той, почти забытой пьесы, которую видел в детстве. Не знаю, как это могло случиться, но я забыл ее название.

Этот спектакль я видел, как говорится в сказках, «увы, давным-давно». Мне было тогда лет двенадцать.

На моей родине в местечке Лучжэнь так заведено, что если женщина в семье мужа не ведет самостоятельно хозяйство, летом она уезжает гостить к своей матери. В то время моя бабушка со стороны отца была еще полна сил, но и на моей матери лежала значительная часть домашних дел, и она не могла подолгу гостить у своих родителей. Только весной, после дня уборки могил [1], ей обычно удавалось вырвать несколько свободных дней, и мы уезжали к бабушке.

---

[1] День уборки могил бывает три раза в году, в третьем, седьмом и девятом месяцах по лунному календарю. В эти дни приносятся жертвоприношения предкам.

Деревня, где жила бабушка, называлась Пинцяо. Это была маленькая деревушка, расположенная на берегу реки, недалеко от моря. Жители Пинцяо, примерно, семей тридцать, занимались земледелием и рыбной ловлей. На все местечко была только одна мелочная лавочка. Эта деревушка казалась мне раем. Ко мне, как к городскому жителю, все относились с особой предупредительностью. Меня здесь баловали, и к тому же можно было не зубрить наизусть:

Вьется, кружится берег реки.
Вдалеке стоят Южные горы...[1]

В Пинцяо у меня было много приятелей, и я играл с ними с утра до вечера. Родители освобождали ребятишек даже от домашней работы, чтобы они могли развлекать редкого гостя. По обычаям деревенского гостеприимства, гость любого местного жителя считался гостем всей деревни. Мальчики, игравшие со мной, почти все были моими ровесниками, но среди них были и мои племянники, и дяди, и даже деды. Это объяснялось тем, что все семьи в деревне принадлежали к одному клану и давно уже породнились между собой. Хотя все мы очень крепко сдружились, но не обходилось и без драк; в пылу сражений влетало и «старшим в роду». Разумеется, никто никакого шума из-за этого не подымал, деревенским жителям даже в голову не приходили два страшных иероглифа «фаньшан» — «оскорбление старшего». Правда, это могло быть еще и потому, что девяносто девять процентов этих жителей были неграмотны.

Нашим любимым занятием была ловля креветок. Рано утром мы отправлялись копать червей. Потом шли к реке, насаживали червей на медные крючки и забрасывали их в воду. Креветки, эти простофили подводного мира, ловились очень легко. Они бесстрашно захватывали своими клешнями крючок и отправляли его в рот. До полудня нам удавалось наловить целую корчагу креветок. Бо́льшая часть улова шла в мою пользу. Я каждый день лакомился креветками. Иногда вместе с ребятами я отправлялся пасти скот. Но коровы и буйволы обижали меня,

[1] Строки из древней «Книги стихов» (Ши-цзин), которые в прежние времена школьники механически заучивали наизусть.

может быть потому, что это были животные высшего порядка. Чувствуя во мне чужого, они не подпускали меня к себе. Я и сам не решался подходить к ним близко и только издали наблюдал за стадом. Ребята потешались надо мной, и даже чтение наизусть стихов «Вьется, кружится берег реки...» не подымало меня в их глазах.

В Пинцяо суждено было сбыться моей детской мечте побывать на деревенском театральном представлении. Такие представления ежегодно происходили в большом селе Чжао, в пяти ли от Пинцяо. Жители деревушки не могли приглашать к себе дорогостоящую труппу артистов, поэтому они вносили часть суммы в село Чжао и ездили туда во время весенних праздников смотреть выступления артистов на открытом воздухе. В то время я не задумывался над тем, почему в деревне ежегодно устраиваются театральные зрелища. Теперь я знаю, что это обрядовые весенние празднества.

В том году мне как раз исполнилось двенадцать лет, и мне разрешили посмотреть театральное представление. К несчастью, случилось так, что нельзя было достать лодку для поездки в село Чжао. В Пинцяо была только одна большая пассажирская джонка, но она уходила из деревни утром и возвращалась только вечером. Задержать ее было невозможно. Другие лодки были слишком малы и не годились для нашей поездки. Послали справиться в соседней деревне, но и там все лодки были заранее разобраны. Бабушка рассердилась, расшумелась и пеняла на всю семью за то, что во-время не позаботились достать лодку. Мать, стараясь успокоить бабушку, говорила ей, что у нас в Лучжэне театр гораздо лучше здешнего, и что мы бываем на спектаклях несколько раз в году.

С досады я чуть не плакал. Мать уговаривала меня не капризничать и не волновать бабушку. Мои мечты рушились. Приближался полдень, все мои приятели давно уехали в село Чжао. Там уже началось дневное представление, и мне казалось, что я слышу звуки барабанов и гонгов. К тому же я знал, что ребята не только с восторгом смотрят представление, но и попивают соевое молоко.

Я не пошел ловить креветок и упрямо отказывался от еды. Мать забеспокоилась, но ничего не могла со мной поделать. За ужином бабушка сказала, что она понимает

меня я очень сожалеет, что в отношении гостей проявлена такая неучтивость; произойти это могло только потому, что в доме все обленились, и я имею право сердиться.

Уже стемнело, когда вернулись ребята. Они хором рассказывали мне о представлении; я угрюмо молчал. Мои друзья сочувствовали мне и только вздыхали. Они совсем уж собрались расходиться по домам, как вдруг Шуан-си воскликнул:

— Нет лодки? Да ведь лодка дедушки Ба уже вернулась!

Мальчики обрадовались, зашумели и стали думать, что делать. Наконец человек десять предложили мне поехать с ними на вечернее представление. Я обрадовался, но бабушка наотрез отказалась отпустить меня одного с ребятами. Мать добавила, что можно было бы попросить когонибудь из взрослых поехать с нами, но все уже легли спать после трудового дня, да и завтра надо встать пораньше, чтобы снова приниматься за тяжелую работу.

В этой суматохе только Шуан-си сообразил, что ктонибудь один должен взять на себя ответственность за поездку, и зычно крикнул:

— Я отвечаю за все! Лодка большая, брат Синь-эр не будет баловаться. И все мы не в первый раз на воде!

В самом деле, среди этого десятка ребят не было ни одного, кто не умел бы плавать, как дикая утка, а некоторые даже были мастерами поиграть с морским приливом. Бабушка и мать не смогли устоять против наших уговоров, улыбнулись и больше не возражали. Мы тотчас же шумной гурьбой выбежали из дому. Мне стало радостно и легко, словно невыносимая тяжесть спала с моего сердца. За воротами я увидел залитое лунным светом Пинцяо и покачивающуюся на причале большую лодку под белым парусом. С веселыми возгласами мы забрались в нее; Шуан-си взялся за передний багор, А-фа — за кормовой. Младшие ребята устроились вместе со мной под навесом, а остальные, постарше, разместились на корме, и мы отчалили.

Мать долго шла за лодкой вдоль берега, все повторяя: «Осторожней, осторожней...» Лодка быстро удалялась. Мы прошли под каменным мостом, потом вложили в уключины весла по два на каждом борту и за каждое весло посадили по два человека — было решено сменять гребцов

через каждое ли, и лодка понеслась к селу Чжао. Неумолкавшие разговоры, смех и шум сливались с журчанием воды, разрезаемой носом быстро идущей лодки.

Мы плыли меж зеленых полей, с каждым ударом весла приближаясь к Чжао. Запах бобов, кукурузы и тростников, росших у воды, струился в свежем ночном воздухе и разливался над поверхностью реки. Мягкий лунный свет пронизывал легкую дымку тумана, стлавшегося над водой. Темные цепи гор, похожие на хребты готовых к прыжку диковинных чудовищ, словно бежали за кормой. Мне все время казалось, что мы плывем слишком медленно, но гребцы уже успели смениться четыре раза. Потом мне почудилось, будто впереди видны очертания села Чжао, и даже послышались музыка и пение. Мелькнуло несколько огоньков, и я решил, что это фонарики на театральных подмостках. Но, возможно, это были огни на рыбачьих лодках. До меня долетали звуки флейты, нежные и звонкие... Я сидел, настороженно прислушиваясь, и мне казалось, что я сливаюсь с воздухом, напоенным запахами бобовых и кукурузных полей.

Огоньки приблизились, и я убедился, что это действительно фонари на лодках рыбаков. За очертания села Чжао я принял кипарисы и сосны. В эту рощу мы ездили в прошлом году. Там я видел древнюю каменную лошадь, разбитую и валяющуюся в траве. Неподалеку от нее стоял каменный баран, который как бы пасся в густой траве. Вскоре мы миновали лес, лодка завернула в бухту, и перед нами, наконец, открылось большое село.

Первое, что привлекло мое внимание, были подмостки, возвышавшиеся на пустыре недалеко от берега. В стороне от села Чжао, смутно видневшегося вдали, они словно сияли в воздухе. Мне чудилось, будто предо мной открылась сказочная страна бессмертных, давно пленявшая мое воображение на картинках.

Мы быстро приближались к берегу. Теперь можно было различить актеров на сцене, освещенной красными и зелеными фонарями. Вдоль берега пестрели паруса лодок, в которых приехали зрители.

— К подмосткам не пробьешься, там все места заняты, придется смотреть издали, — сказал А-фа.

Лодка замедлила ход, мы стали причаливать, но

к самому берегу подойти было уже нельзя. Нам ничего больше не оставалось, как опустить в воду бамбуковые шесты. Пока к ним привязывали лодку, я жадно упивался происходившим на сцене. Огромный человек с длинной бородой и четырьмя флагами, прикрепленными к спине, размахивая длинным копьем, вел бой с толпой полуобнаженных людей.

— Это известный актер, по прозвищу «Железная голова», — заметил Шуан-си. — Он может без перерыва кувыркаться через голову восемьдесят четыре раза. На дневном представлении я сам считал.

Мы сгрудились на носу лодки и с интересом наблюдали сражение. Но, к нашему разочарованию, «Железная голова» ни разу не кувыркнулся. Кувыркались лишь некоторые из нападавших на него полуголых людей и всего только по нескольку раз. Сцена эта скоро закончилась, артисты ушли, и на смену им явился актер, исполняющий роль молодой героини. Он запел пронзительным голосом.

— Вечером зрителей гораздо меньше, чем днем. Вот «Железная голова» и ленится. Да кто же будет зря стараться перед пустым местом? — сказал Шуан-си.

Он был прав — зрителей в этот час было сравнительно мало. Крестьяне из соседних деревень разъехались по домам. Завтра им предстояло с новыми силами взяться за свой тяжелый труд. Несколько человек, стоявших около сцены, были местные жители или бездельники из ближайших деревень. Среди них была группа богатеев-помещиков, приехавших целыми семьями на собственных больших джонках под черными парусами. Они не особенно интересовались представлением, а больше жевали сладкие рисовые лепешки и фрукты да щелкали арбузные семечки. Действительно, всех их можно было принять за пустое место.

Кувыркание через голову меня не очень интересовало. Я надеялся, что выйдет артист в белом халате и, играя «шэцин» — духа змеи, подымет над головой палку, похожую на змею-оборотня; или артист в желтом халате будет изображать прыгающего тигра. Но мои ожидания оказались напрасными, ничего такого нам не показали. Актер, исполнявший роль молодой веселой женщины — «сяодань», кончил петь и ушел. После него вышел старик, изображавший молодого героя.

Я сильно проголодался и попросил Гуй-шэна купить мне соевого молока. Гуй-шэн пошел, но быстро вернулся и сказал:

— Молока нет. Глухой лотошник торгует только днем, он давно уже ушел. Я сам выпил у него утром две чашки. Подожди, я принесу тебе в горлянке воды.

Я отказался и, пересилив чувство голода, продолжал смотреть представление, опершись на шест. Я не сводил глаз с актеров до тех пор, пока не почувствовал, что их лица теряют свои очертания и сливаются в одно пятно. Меня клонило ко сну, и я перестал понимать, что происходит. Младшие ребята зевали, они тоже хотели спать, а старшие болтали о своих делах. Вдруг на сцене появился старик с белой бородой и принялся хлестать плетью привязанного к столбу шута в красном халате. Мальчики снова оживились. По-моему, за весь вечер это было самое интересное место.

Затем на сцену вышел актер, игравший «благородную старуху». По правде сказать, я больше всего боялся этой «благородной старухи», особенно того, что она усядется и начнет петь. С ее появлением и другие зрители заметно приуныли. Сначала актер пел, прохаживаясь взад и вперед, а потом все-таки сел в кресло и опять затянул свою песню. Шуан-си не вытерпел и крикнул:

— Боюсь, это пение не кончится и до утра! Поехали!

Мальчики зашевелились, поднялась веселая суета. Старшие бросились к корме и стали отталкиваться багром, потом вложили весла в уключины и, ругая «благородную старуху», поплыли к кипарисовой роще.

Светила луна. Мне казалось, что представление продолжалось недолго, но как только мы отъехали от села Чжао, свет луны стал ярче — была глубокая ночь. Я оглянулся, позади виднелись подмостки, залитые светом фонарей. Сцена уплывала в туман и снова становилась похожей на дворец бессмертных духов. Еще доносились приглушенные звуки флейт. Я раздумывал: «поет ли еще тот «лаодань» или перестал? Вернуться посмотреть было уже невозможно. Скоро и кипарисовая роща осталась позади. Вокруг сгущались тени. Лодка шла быстро. Ребята говорили о представлении — одни ругали актеров, другие смеялись. Гребцы быстро работали веслами. Журчала вода, рассекаемая лодкой, похожей на большую рыбу, не-

сущую на спине среди пенящихся волн кучку ребят. Несколько старых рыбаков, вышедших на ночной промысел, опустив весла, смотрели нам вслед и провожали одобрительными возгласами.

До Пинцяо оставалось около одного ли. Лодка пошла тише. Гребцы жаловались на усталость. Они проголодались. Гуй-шэн предложил — раз уж мы плывем мимо бобовых полей — сделать остановку, нарвать молодых бобов, развести огонь и сварить их. Все очень обрадовались. Мы причалили к берегу и сразу же попали на поле, густо заросшее молодыми бобами.

— Эй, А-фа! Это ваше поле, а рядом — семьи старого Лю-и. С какого брать? — спросил Шуан-си, первый спрыгивая на берег.

— Погоди, дай мне посмотреть! — А-фа нагнулся, пощупал бобы, выпрямился и сказал: — Тащи с нашего! Наши вкусней.

Мальчики моментально рассыпались по полю: мы быстро нарвали большие охапки стручков и потащили в лодку. Шуан-си смекнул, что на одном поле воровать опасно. Мать А-фу сразу заметит, и тогда вовек не оберешься неприятностей. Мы перебежали на поле дедушки Лю-и и тоже натаскали оттуда большие охапки. Ребята постарше снова сели за весла. Мы немного отплыли от берега и развели огонь на корме. Младшие ребятишки принялись чистить стручки. Молодые бобы быстро сварились. Пустив лодку по течению, мы уселись вокруг котла и стали есть руками. Котел живо опустел. Мы вымыли его, а шелуху и стебли выбросили за борт, чтобы уничтожить следы нашего ужина. Гребцы дружно налегли на весла. Шуан-си опасался, что хозяин лодки, аккуратный дедушка Ба, заметит, что у него исчезла растопка и соль, и будет нас ругать. Подумав, мы решили, что бояться старика нечего. Если только он подымет шум, мы спросим его, где сухое кипарисовое дерево, которое он утащил с берега в прошлом году. В крайнем случае можно будет и огрызнуться, обозвать его «чесоточный Ба!»

— Вот и добрались! Все в порядке! Я ведь говорил! — громко крикнул Шуан-си, стоявший на носу лодки.

Я посмотрел вперед. Перед нами была деревня Пинцяо. На мосту кто-то стоял. Это была моя мать. Я перебрался в переднюю часть лодки. Она подходила к мост-

кам. Мы причалили и гурьбой выбрались на берег. Мать сердито укоряла нас, что мы задержались так поздно — до третьей стражи. Но она была рада, что мы вернулись целы и невредимы, и позвала нас в дом поужинать. Ребята отказались, уверяя ее, что мы наелись сладостей и что лучше поскорей лечь спать. Все разошлись по домам.

На следующий день я проснулся около полудня. О соли и растопке дедушки Ба никто не упоминал, и после обеда я, как всегда, пошел с ребятами ловить креветок.

— Эй, чертенята! Это вы вчера воровали бобы на моем поле? И сорвать-то толком не смогли — все потоптали!

Я обернулся и увидел дедушку Лю-и, неслышно подплывшего к нам на своей маленькой лодке. Он возвращался с базара и вез обратно кучку непроданных бобов.

— А что ж тут такого? Мы вчера гостя угощали... да и не на одном твоем поле рвали мы бобы... У тебя они неважные... Ну тебя совсем — спугнул только креветок, — ответил Шуан-си.

Дедушка Лю-и, заметив меня, опустил весло и, посмеиваясь, сказал:

— Гостя потчевали, это, пожалуй, следовало... — И, обратившись ко мне, спросил: — Ну, как тебе понравилось вчерашнее представление, брат Синь?

Я кивнул головой и ответил:

— Очень понравилось.

— А бобы вкусные? — продолжал дедушка Лю-и.

Я опять кивнул и сказал:

— Очень вкусные.

Мой ответ растрогал старика, и он, подняв большой палец, с удовлетворением заметил:

— Сразу видно — человек из большого города; человек, читающий книги, понимает толк в хороших вещах. Когда я сажаю бобы, я отбираю их поштучно, а наши деревенские не понимают, что хорошо, что плохо, да еще болтают, будто мои бобы хуже, чем у других. Я сегодня же пошлю бобов твоей матушке. Пусть отведает! — тут он ударил по воде веслами и поплыл дальше.

Когда мать позвала меня ужинать, на столе стояла большая чашка вареных молодых бобов. Оказалось, что это дедушка Лю-и принес подарок моей матери и мне. Потом домашние подробно рассказали, как он восхищался мной и расхваливал:

— Маленький, а понимающий! Вырастет — непременно станет чжуанюанем. Так что, матушка, можно сказать, счастливая жизнь тебе обеспечена.

Я попробовал бобы, но они показались мне не такими уж вкусными.

Сказать правду, с тех пор мне никогда не приходилось пробовать более вкусных бобов, чем те, что мы ели в лодке; и не довелось мне увидеть спектакля более интересного, чем представление в селе Чжао.

Октябрь 1923 г.





УТИНАЯ КОМЕДИЯ

Слепой русский поэт Ярошенко, не так давно приехавший в Пекин со своей шестиструнной гитарой, часто жаловался мне:

— Тишина, тишина, как в пустыне.

Пожалуй, это верно, но я, как старый житель Пекина, этого не замечал. Когда долго пробудешь в комнате с ирисами и орхидеями, перестаешь чувствовать их аромат. Иногда мне казалось, что в Пекине даже шумно. Может быть, то, что для меня было шумом, для него было тишиной.

У меня было другое чувство: мне казалось, что в Пекине нет ни весны, ни осени. Пекинцам я говорил, что климат меняется и что прежде здесь не было так жарко. Итак, я считал, что в Пекине не бывает ни весны, ни осени. Кончается зима, и сразу же наступает лето; только проходит лето — снова начинается зима.

Однажды ночью, как раз когда кончалась зима и начиналось лето, у меня случайно оказалось свободное время, и я зашел к Ярошенко. Он жил в семье Чжун Ми. В такой поздний час вся семья спала, в доме было очень тихо. Ярошенко лежал в постели, нахмурив густые золотисто-рыжие брови. Он думал о Бирме, где когда-то путешествовал, и вспоминал бирманские летние ночи...

— В такую ночь, — сказал он, — там повсюду музыка: и в домах, и в траве, и на деревьях — везде трещат насекомые. Все эти звуки сливаются в гармонию, таинственную

и чудесную. К этим разнообразным звукам присоединяется шипение змей — «ши-ши», но и это шипение гармонирует с трескотней насекомых.

Он глубоко задумался, как бы стараясь восстановить в памяти образы прошлого.

Я молчал. Такой удивительной музыки мне не приходилось слышать в Пекине. И как я ни любил свою страну, я ничего не мог сказать в ее оправдание. Поэт был слеп, но не был глух.

— В Пекине нет даже лягушек, — вздыхая, говорил он. — Лягушечье кваканье!

Его вздох придал мне смелости, и я сказал, протестуя:

— Летом, после больших дождей, вы можете здесь услышать кваканье лягушек. Они водятся в каждом канале, а в Пекине много каналов.

— Э! — произнес он.

Прошло несколько дней, и мои слова подтвердились. Ярошенко где-то купил головастиков и выпустил их в небольшой бассейн, устроенный посредине двора перед его окнами. Этот бассейн был всего три чи в длину и два в ширину. Чжун Ми когда-то выкопал его для лотосов, но с тех пор над водой не поднялся ни один лотос. Для разведения лягушек это было самое подходящее место.

Головастики разбились на стайки и стали сновать взад и вперед. Ярошенко часто приходил навещать их. Однажды детишки сказали ему:

— Господин Ярошенко, у них ноги выросли.

Поэт радостно улыбнулся:

— А!..

Разведение «музыкантов в пруду» стало любимым занятием Ярошенко.

У него были свои убеждения. Он утверждал, что каждый должен своим трудом добывать для себя пищу: женщины могут разводить домашний скот, а мужчины должны обрабатывать землю. Когда ему случалось встретить хорошего знакомого, он убеждал его сажать во дворе капусту.

Жену Чжун Ми он уговаривал разводить пчел, кур, коров, верблюдов... Как-то в семье Чжун Ми вдруг появилось много цыплят. Они бегали по всему двору и клевали

молодую траву. Эти цыплята, наверное, появились в результате его уговоров...

С тех пор к нам во двор стали часто приходить крестьяне, продававшие живых цыплят. И каждый раз у них покупали по нескольку штук, потому что цыплята недолговечны, легко объедаются и болеют холерой. Один из них даже стал героем единственного написанного Ярошенко в Пекине рассказа «Трагедия цыпленка».

Однажды в полдень крестьянин вместо цыплят принес утят. Они пищали: «Сю, сю!» Жена Чжун Ми сказала, что утята ей не нужны. В это время во двор вышел Ярошенко. Крестьянин дал ему в руки одного утенка. Тот и в руках продолжал пищать: «Сю, сю!» Утенок так понравился Ярошенко, что он не мог с ним расстаться и купил четырех утят, по восемьдесят вэней.

Утята были очень славные. Их желтый пух напоминал цвет сосен. По земле они ходили, переваливаясь с боку на бок, и перекликались друг с другом. Все во дворе говорили: «Хороши, надо, пожалуй, завтра купить земляных червей и накормить их». Ярошенко ответил: «За это я сам заплачу».

Потом он ушел работать, остальные тоже разошлись... Немного погодя жена Чжун Ми вынесла холодный рис покормить утят и услышала всплески воды. Оказалось, что четыре утенка купаются в бассейне. Они разогнали головастиков и что-то глотали. Утят выгнали, но вода в бассейне стала мутной и не скоро опять посветлела. Из тины торчало только несколько маленьких корешков лотоса, но головастиков там больше не было, головастиков, у которых уже выросли ноги...

К вечеру, когда ребятишки увидели Ярошенко, самый маленький из них крикнул:

— Господин Ярошенко, лягушечьи сыновья исчезли!

— А?! лягушки? — удивился Ярошенко.

Жена Чжун Ми тоже вышла во двор и рассказала ему, как утята съели головастиков.

— Ай-ай! — сказал он.

Прошло некоторое время, утята сбросили свой желтый пух. Ярошенко, тоскуя по своей родине, России, неожиданно уехал в Читу. С тех пор вот уж четыре сезона квакают лягушки. Утята выросли: два белых и два пестрых. Они уже не пищат: «Сю, сю!» — они крякают: «Я... я»! Им

давно уже стало тесно в бассейне для лотосов, но, к счастью, дом, где живет Чжун Ми, стоит в низине и, как только пройдет летний дождь, там набирается полный двор воды. Утки с восторгом плавают в лужах и хлопают крыльями, ныряют и кричат: «Я... я!»

Сейчас лето снова переходит в зиму, а от Ярошенко нет никаких вестей. Так я и не знаю, где-то он теперь...

А здесь остались четыре утки, и кричат они, как в пустыне: «Я... я!»

Октябрь 1922 г.





МОЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ

Последние дни по старому лунному календарю и в самом деле были похожи на канун нового года. В предпраздничной суете местечка Лучжэнь даже в самом воздухе чувствовалось наступление нового года. В пепельно-серых тяжело нависших облаках вспыхивали огни ракет, сопровождаемые гулкими разрывами хлопушек. Это провожали бога очага, который отправлялся на небо с докладом о событиях минувшего года. Хлопушки разрывались все чаще и громче, гул стоял непрерывный. Воздух наполнился легким запахом пороха.

Как раз в канун нового года я приехал в Лучжэнь. Хотя это местечко и было моей родиной, у меня уже здесь не было родного дома. Поэтому мне пришлось остановиться у родственника по имени Лу-сы. Он был на два года старше меня, и мне полагалось называть его дядя Сы. Это был ученый старой школы, прежде он работал в императорской академии и занимался философией.

Я не заметил в нем никаких особых перемен, разве только постарел он немного, хотя попрежнему не отпускал бороды. Мы обменялись обычными приветствиями. Глядя на меня, он сказал: «Ты пополнел...» — и тут же стал от-

чаянно ругать новую партию. Я знал, что это ко мне не относится, что объектом его нападок был Кан Ю-вэй *. Тем не менее разговор у нас не клеился, и вскоре я остался один в его кабинете.

На следующий день я встал поздно и после обеда отправился навестить родственников и друзей; точно так же прошел и мой третий день в Лучжэне. Здесь почти ничего не изменилось, только знакомые мои немного постарели.

Во всех домах была суета, все усердно готовились к совершению обряда «Моление о счастье».

Этот торжественный обряд в Лучжэне совершают в конце года: приносят жертвы богу счастья и вымаливают у него ниспослание всяческого благополучия в предстоящем году. Для жертвоприношений режут уток и кур, покупают свинину и все это тщательно моют. Руки женщин от холодной воды становятся красными по самые локти, но некоторые не снимают своих витых серебряных браслетов. Когда все яства приготовлены, в них втыкаются палочки для еды, и тогда можно сказать, что все готово к церемонии жертвоприношения. Во время пятой стражи еду расставляют в определенном порядке, зажигают благовонные свечи и просят богов счастья притти и отведать приготовленные для них дары. Этот обряд совершают только мужчины; потом снова пускают ракеты. Церемония происходит ежегодно в каждой семье, была бы только возможность приобрести продукты, хлопушки и прочие необходимые предметы.

Так было в Лучжэне и в этом году. Тучи заволокли небо, и к вечеру пошел снег. Большие хлопья напоминали цветы сливы. Они кружились в воздухе, сливаясь с вечерней мглой и пороховым дымом ракет. Когда я вернулся в кабинет дядюшки Сы, края черепичной крыши стали белыми. От снега в комнате посветлело, и можно было разглядеть висевшую на стене бамбуковую доску с красным иероглифом «шоу» *, означающим «долголетие». Этот иероглиф был написан еще бессмертным Чэнь-туанем. Обычно по сторонам бамбуковой доски висят два свитка [1]; сейчас один из них упал и полусвернутый лежал на длинном столе. Второй свиток висел на стене, надпись на нем

---

[1] В китайском доме кабинет обычно украшается двумя свитками с параллельными надписями (стихи, изречения и т. д.), написанными знаменитыми каллиграфами.

гласила: «Постижение законов деяния приносит мир и душевное успокоение».

В подавленном настроении я подошел к стоявшему у окна столу. Здесь стопкой лежали несколько томов словаря Кан Си, часть комментарий к «Запискам о современных идеях» и пособия к изучению «Четверокнижия» *...

Как бы там ни было, я решил завтра уехать отсюда. Мне не давало покоя воспоминание о вчерашней встрече с тетушкой Сян-линь, и я не мог здесь больше оставаться.

Вот как это случилось. Вчера после обеда я отправился в восточную часть Лучжэня навестить своего приятеля. Возвращаясь от него, я увидел на берегу речки тетушку Сян-линь. По ее пристальному взгляду я сразу понял, что она пришла сюда специально для того, чтобы встретиться со мной. Из моих знакомых в Лучжэне никто не изменился так, как она. Помню, лет пять тому назад в ее волосах была проседь, а теперь они стали совершенно белыми. Никак нельзя было сказать, что ей нет еще и сорока лет. Она была так истощена, что лицо ее приобрело землистый оттенок и утратило скорбное выражение, каким оно было отмечено прежде. Теперь оно казалось вырезанным из дерева. Лишь глаза женщины говорили о том, что перед вами живое существо. В одной руке тетушка Сян-линь держала бамбуковую корзинку с разбитой чашкой, в другой — длинную бамбуковую палку, расщепленную внизу. По всему было видно, что она стала нищенкой.

Я остановился, ожидая, что она попросит у меня подаяние.

— Вернулись к нам, в родные края? — спросила она.

— Да.

— Это очень хорошо. Вы человек грамотный, да к тому же и свет повидали и уж, наверное, знаете больше, чем здешние... Я хотела спросить вас вот о чем... — произнесла она, и в ее угасших глазах внезапно появился блеск.

Я совсем не ожидал, что она обратится ко мне с такими словами.

— Я хотела узнать у вас, — продолжала она, приблизившись ко мне, и, понизив голос, с таинственным видом спросила: — когда человек умирает, остается после него душа или нет?

Вопрос сам по себе поразил меня, а от ее остановившегося взгляда мне стало страшно, даже мурашки пробе-

жали по телу. Я растерялся больше, чем, бывало, в школе, когда не знал урока, а учитель вызывал меня, да еще, как назло, стоял рядом. Откровенно говоря, я никогда не задумывался над вопросом: есть ли у человека душа, или нет? А сейчас мне надо было на него ответить. Как же лучше ответить? Пока я раздумывал, мне вспомнилось, что здешние люди все еще верят в духов. У нее, очевидно, возникли какие-то сомнения, а может быть, она хочет укрепить свою веру?.. Но чему она хочет верить — тому ли, что душа существует, или же тому, что души нет?.. Зачем причинять лишнее горе человеку, которому осталось уже недолго жить? Лучше, пожалуй, сказать ей, что душа есть.

— Мне кажется, да... по крайней мере я так думаю, — решительно ответил я.

— Тогда, значит, ад тоже есть?

— Что? Ад? — этот вопрос привел меня в полное замешательство, и я уклончиво ответил: — Ад?.. Логически рассуждая, он как будто должен существовать... Но, может быть, его и нет... Да кто же в этом разберется?

— А если так, — продолжала допытываться тетушка Сян-линь, — то члены одной семьи могут там встретиться после смерти?

— Ай, ай! Могут они встретиться или нет?.. — и тут я почувствовал себя круглым дураком. Сколько бы я ни думал, что бы ни придумывал, я все равно не в состоянии ответить ей на эти вопросы. Я совершенно упал духом и решил даже отказаться от своих слов.

— Ну вот... Право же, я ничего определенного сказать не могу... Я не знаю, есть душа или нет.

Не ожидая, пока она задаст мне новый вопрос, я поспешил уйти от нее. Взволнованный, я вернулся в дом дяди Сы. На сердце у меня было очень неспокойно. Раздумывая о случившемся, я боялся, что своими словами причинил тетушке Сян-линь лишь большой вред. Может быть, сейчас, когда другие готовятся к совершению обряда моления о счастье, она с особой остротой почувствовала свое одиночество. Но, возможно, у нее были и другие мысли... Не мучило ли ее какое-нибудь предчувствие? Если с ней произойдет какое-нибудь несчастье, то какая-то доля ответственности ляжет и на меня...

Прошло немного времени, и я успокоился. Все это простая случайность, никакого значения этот разговор не

имеет; я сам придаю ему какой-то особый, таинственный смысл. Вот уж поистине верно, что работники умственного труда нервные люди. И к тому же я совершенно ясно дал ей понять, что «Ничего определенного сказать не могу». Взять, например, некоторых неопытных, но довольно самонадеянных молодых людей. Зачастую они берут на себя смелость выступать в роли исцелителей людских невзгод, разрешают возникающие сомнения и вопросы. Однако, опасаясь, как бы их советы не привели к дурным последствиям и как бы люди не стали к ним враждебно относиться, они прибегают к спасительной фразе: «Ничего определенного сказать не могу». Этим они завоевывают себе право на полный покой и предохраняют себя от возможных неприятностей. И вот теперь я сам воспользовался этой фразой. Даже в разговоре с нищенкой я не мог обойтись без столь спасительных слов.

И все же я не мог избавиться от беспокойства. Наступил вечер, а я нет-нет да и вспоминал о встрече с Сянлинь, словно меня мучило недоброе предчувствие. Пасмурное небо, покрытое тяжелыми снежными тучами, унылый мрачный кабинет еще усиливали мою тревогу. «Нет, лучше завтра же уехать», — подумал я.

Тут я вспомнил о ресторанчике «Башня счастливого процветания». Там неплохо готовят плавники акулы; за один юань можно получить большую порцию, — и дешево, и хорошо. Не знаю, не подорожало ли теперь. Хотя все мои приятели, с которыми я когда-то проводил время, рассеялись по белу свету, я не мог отказаться от удовольствия отведать плавников акулы, пусть даже и в одиночестве... А потом ведь все равно я решил завтра уехать.

Я давно уже заметил, что когда ждешь каких-нибудь событий и не хочешь, чтобы они произошли, то как нарочно всегда случается именно то, чего опасаешься. Я боялся, что так случится и на этот раз. Действительно, начались необычайные происшествия. Вернувшись домой, я услышал, что в зале собрались люди и обсуждают какое-то событие. Вскоре голоса умолкли, только слышно было, как мой дядюшка расхаживает по комнате и громко сетует: «Ни раньше, ни позже! Надо же было этому случиться именно сейчас! Просто какое-то наваждение!»

Сначала мне захотелось узнать, в чем дело, а потом мне стало страшно — как будто слова дядюшки имели ка-

кое-то отношение ко мне. Я выглянул за дверь, но никого поблизости не оказалось. Я с трудом дождался, пока служанка пришла заварить мне чай. Наконец-то я узнаю, что произошло.

— На кого это сердился господин Сы? — спросил я ее.

— Да все на Сян-линь, — коротко ответила служанка.

— Сян-линь? А что случилось? — тревожно спросил я.

— Она умерла.

— Умерла? — от неожиданности я едва не подскочил на месте, у меня больно сжалось сердце. Вероятно, я изменился в лице, но, разговаривая со мной, служанка не подымала головы и ничего не заметила. Немного успокоившись, я продолжал расспрашивать:

— Когда же она умерла?

— Когда умерла? Да вчера ночью, а может быть и сегодня. Точно сказать не могу.

— А отчего она умерла?

— Отчего умерла? Да от бедности, конечно, — по-прежнему равнодушно отвечала женщина. Так и не взглянув на меня, она вышла из комнаты.

Мой испуг вскоре прошел. Тревожное ожидание беды теперь было позади, и мне незачем больше прибегать к спасительной фразе: «Ничего определенного сказать не могу», или утешать себя словами служанки, что тетушка Сян-линь «умерла от бедности». На сердце у меня постепенно становилось спокойнее, но время от времени тревожное чувство возвращалось...

Вскоре накрыли стол к ужину. Дядюшка Сы сидел с суровым видом. Я хотел было расспросить его более подробно о Сян-линь, но передумал. Хотя мой дядя и читал в старинных книгах о том, что «злые и добрые духи всего лишь естественное проявление положительного и отрицательного начал природы», но был очень суеверен. Говорить о смерти, болезнях и других печальных вещах перед совершением обряда моления о счастье не полагалось. Если же таких разговоров нельзя было избежать, следовало говорить иносказательно. К сожалению, ничего подходящего я придумать не мог и отказался от всяких попыток заговорить на эту тему.

Глядя на строгое лицо дядюшки, я вдруг подумал: «А не считает ли он, что и я тоже приехал не во-время?» Желая поскорей успокоить его, я сказал, что завтра уез-

жаю. Он не очень удерживал меня. Ужин тянулся томительно долго и скучно.

Зимой рано темнеет, а в этот день еще шел густой снег, и мгла давно уже окутала все местечко. Люди при свете ламп спешно заканчивали последние приготовления. Пышное белое покрывало становилось все толще — снегопад не прекращался. Вокруг было так тихо, что, казалось, можно было услышать шелест падающих снежинок.

Я одиноко сидел при желтом огне светильника и раздумывал о судьбе тетушки Сян-линь. Люди еще при жизни выбросили эту беспомощную одинокую женщину в мусорную кучу как ненужную, старую, изношенную вещь. А когда она все-таки по временам появлялась, у этих довольных собой людей возникало лишь чувство раздражения, что она все еще жива. Теперь посланец царства смерти навсегда убрал ее.

Есть ли душа, или нет — я так и не знаю. Но я знаю, что в современном обществе тот, кто теряет интерес к жизни, и кончает счеты с ней, или исчезает с глаз людей, у которых одним видом своим вызывал неприязнь, — тот совершает благое дело и для себя и для других. Я тихо сидел у окна, точно надеялся услышать шелест падающего снега. Постепенно у меня на душе становилось спокойно и легко.

Отдельные эпизоды из жизни тетушки Сян-линь, о которых мне приходилось слышать или которые я наблюдал сам, слились в одну общую картину.

Она не была уроженкой Лучжэня. Когда-то, в начале зимы, в доме дядюшки Сы искали новую служанку, и посредница, старуха Вэй, привела к ним Сян-линь. Волосы Сян-линь были повязаны белым шнурком. Она была в черной юбке и синей кофте на подкладке, а поверх — безрукавка бледноголубого цвета. Ей можно было дать лет двадцать шесть — двадцать семь. Лицо у нее было изжелта-бледное, но на щеках пробивался румянец. Старуха Вэй сказала, что Сян-линь живет в деревне по соседству с домом ее матери, что недавно у Сян-линь умер муж, и поэтому она уехала искать работу.

Когда ее приняли в дом, дядюшка Сы только нахмурил брови. Тетушка Сы сразу поняла, что это значит: он не одобрял, что в служанки взяли вдову. Однако, убедившись, что Сян-линь здорова, что у нее крепкие руки и

ноги и что, судя по ее покорному виду, честному и открытому взгляду, она будет нетребовательной и выносливой работницей, тетушка Сы на этот раз не обратила внимания на нахмуренные брови дядюшки и оставила женщину у себя.

Во время испытательного срока Сян-линь работала не покладая рук; казалось, безделье гнетет ее. Она была очень вынослива и силой могла померяться даже с мужчиной. На третий день с ней окончательно договорились, что она будет получать пятьсот вэней в месяц.

Все звали ее Сян-линь. Фамилией ее никто не интересовался, но так как рекомендовавшая ее посредница звалась Вэй и сказала, что Сян-линь соседка ее матери, то вполне вероятно, что фамилия Сян-линь тоже была Вэй. Она была молчалива и говорила только тогда, когда к ней обращались. На вопросы отвечала очень кратко. Прошло недели две, прежде чем она рассказала, что дома у нее осталась суровая свекровь и младший брат мужа, еще мальчик, но ловкий лесоруб. Муж ее тоже был лесорубом и умер прошлой весной. Он был на десять лет моложе ее. Вот и все, что удалось узнать о ее жизни.

Время бежало быстро. Сян-линь была очень трудолюбива, нетребовательна к пище и работала, не жалея сил. Все говорили, что служанка господина Лу-сы усердием, быстротой и ловкостью может поспорить с любым мужчиной. Перед новым годом надо было убрать весь дом, вымыть полы, зарезать кур и уток и всю ночь жарить и варить жертвенные дары — со всей этой работой она справилась одна. Прежде в такой трудный день приходилось нанимать поденных работниц. Тетушка Сы как будто была всем довольна, улыбалась и сияла.

Вскоре после праздника нового года Сян-линь пошла на речку мыть рис и вернулась бледная, расстроенная. Она рассказала, что видела на другом берегу мужчину, очень похожего на дядю ее мужа. Сян-линь боялась, что он приехал в Лучжэнь разыскивать ее. Тетушка Сы встревожилась и стала расспрашивать Сян-линь более подробно, но ничего больше от нее не добилась. Когда об этом узнал дядюшка Сы, он нахмурил брови и сказал:

— Это плохо. Боюсь, что она беглая...

Предположение вскоре подтвердилось, — она действительно бежала из дому. После этого происшествия прошло

дней десять, и все стали уже забывать о нем, как внезапно в доме дядюшки Сы появилась старуха Вэй с какой-то женщиной лет тридцати, которую она представила как свекровь Сян-линь. По ее внешнему виду сразу можно было определить, что это — жительница захолустной горной деревни; однако вела она себя с большим достоинством и умело поддерживала разговор. После обмена обычными приветствиями и расспросов о здоровье и погоде, она извинилась за беспокойство и сказала, что приехала для того, чтобы увезти домой жену своего сына. Подходит время весенних полевых работ, дела много, а дома остались лишь старые да малые, рабочих рук нехватает.

— Раз свекровь требует, чтобы она вернулась домой, так и говорить не о чем, — сказал дядюшка Сы.

С ней тут же рассчитались. Оказалось, что Сян-линь заработала тысячу семьсот пятьдесят вэней. Обычно весь свой заработок она оставляла на хранение хозяевам и не тратила на себя ни одного медяка. Получив деньги, она тут же отдала их свекрови. Эта женщина забрала также и одежду Сян-линь. Поблагодарив хозяев, они ушли. Все это произошло в полдень.

— Ай-я! Что же это такое? Куда девался рис? Ведь Сян-линь ходила мыть его на речку... — забеспокоилась тетушка Сы спустя довольно много времени. Очевидно, она проголодалась и вспомнила, что пора обедать.

Все принялись искать решето для промывки риса. Тетушка Сы заглянула во все углы на кухне, в передней, и даже в спальне, но нигде его не нашла. Дядюшка Сы посмотрел возле дома, затем отправился к речке. Решето преспокойно стояло на берегу, а рядом лежал вилок капусты.

Очевидцы рассказывали потом, что рано утром к берегу пристала парусная джонка. Она была крытая, кто в ней приехал, не знали, да и не обратили внимания. А когда Сян-линь пришла мыть рис и склонилась у воды, из джонки вдруг выскочили двое мужчин, по виду деревенские, схватили ее и втащили в лодку. Сперва было слышно, как Сян-линь плакала, а потом все затихло; видно, они заткнули ей рот. Вскоре к берегу подошли две женщины, одна — незнакомая, а другая — старуха Вэй. Они заглянули внутрь лодки, но что они там увидели, трудно сказать — возможно, связанную Сян-линь.

В этот день тетушка Сы готовила обед сама, а печку растапливал их сынишка А-ню.

После полудня старуха Вэй пришла опять.

— Какая гнусность! — проворчал дядюшка Сы.

— Ты о чем думала? Что все это значит? — сердито спросила старуху Вэй тетушка Сы, перемывая посуду. — Какой скандал вышел из-за тебя, и ты еще осмеливаешься приходить к нам в дом! Ведь ты сама рекомендовала нам Сян-линь, а теперь помогла выкрасть ее. Какой позор! Ведь все это видели! На что же это похоже? Ты вздумала издеваться над нами?

— Ох-ох! Поверьте, я сама пострадала в этом деле. Я и пришла к вам, чтобы все рассказать. Когда Сян-линь попросила меня порекомендовать ее куда-нибудь на работу, я не знала, что она тайком убежала от свекрови. Вы уж, господин Сы и госпожа Сы, извините меня! Все, конечно, произошло по моей оплошности. Совсем я, старая, из ума выжила. Я очень виновата перед вами. На мое счастье, ваша семья всегда славилась великодушием и благородством, и вы не станете строго судить такого маленького человека, как я. А чтобы искупить свою вину, я непременно найду вам другую очень хорошую работницу...

— Но... — начал было дядюшка Сы и умолк.

На этом и закончилось происшествие с Сян-линь. Вскоре о нем совсем забыли. Только тетушка Сы вспоминала о ней потому, что была недовольна новой работницей. Та оказалась и ленивой и лакомкой. Трудно было сказать, что в ней преобладало: лень или любовь к сладостям. Каждый раз, вспоминая Сян-линь, тетушка Сы говорила сама себе: «Как-то теперь она живет?» Это означало, что она ничего не имела бы против возвращения Сян-линь. Но прошел год, и она тоже перестала вспоминать Сян-линь.

Однажды в конце первого месяца нового года в дом дядюшки Сы с визитом явилась старуха Вэй. Она уже успела где-то выпить и была навеселе. Извинившись за то, что поздно пришла поздравить с праздником, она рассказала, что ездила на родину, к матери, в деревню Вэйцзяху, и только что вернулась в Лучжэнь. Речь естественно зашла о Сян-линь.

— Сян-линь? — оживленно воскликнула старуха Вэй. — Да, ей повезло! Когда свекровь разыскала ее и

увезла домой, она уже была просватана за Хэ Лао-лю, из селения Хоцзяао. Спустя несколько дней ее посадили в свадебные носилки и отправили к жениху.

— Ай-я! Вот это свекровь! — изумленно сказала тетушка Сы. — Вдову сына выдала замуж! *

— Да что вы, госпожа Сы! Вы смотрите на это, как заведено у вас, в богатых, благородных семьях. А мы люди с гор — деревенские жители, люди маленькие. И не то еще у нас бывает. У свекрови Сян-линь есть младший сын. Ну, вот его и решили женить. А где бы они достали кучу денег на свадебные подарки невесте, если бы не выдали замуж Сян-линь? Свекровь ее очень деловая и разумная женщина. Она хорошо все рассчитала и просватала Сян-линь в захолустный горный район. Выдай она Сян-линь замуж в своей деревне, свадебных подарков они получили бы гораздо меньше. Вообще-то говоря, не много найдешь женщин, желающих выйти замуж за жителей гор; поэтому ей и удалось получить за Сян-линь хорошие свадебные подарки — целых восемьдесят связок по тысяче вэней. А сейчас она женила своего младшего сына. На подарки для его невесты она израсходовала пятьдесят связок, а на остальные деньги устроили свадьбу, да еще осталось у нее больше десяти связок. Ха! Что вы на это скажете? Вот до чего она расчетлива!..

— А как же Сян-линь? Она сама согласилась во второй раз выйти замуж?

— Да что тут говорить — согласилась она или не согласилась... Пошумела — это верно, так кто ж не шумит? В таких случаях есть верное средство — веревка; невесту связывают, сажают в свадебные носилки, несут в дом жениха, одевают там на нее свадебный венок, заставляют поклониться семейному алтарю, а потом запирают двери, — и дело с концом. С Сян-линь было совсем по-другому. Говорят, она подняла большой шум. И еще говорят, что шумела она потому, что работала у людей, читающих книги, там она и научилась поступать не так, как все. Что ж, госпожа Сы! Мы с вами повидали немало. Когда выдают замуж второй раз, чего только не бывает: женщины и плачут, и кричат, и хотят руки на себя наложить. А то еще в доме жениха устраивают скандалы и отказываются поклониться домашнему алтарю; доходит и до

того, что ломают свадебные свечи. Правда, все это пустяки по сравнению с тем, что вытворяла Сян-линь. Рассказывают, что всю дорогу, пока ее несли в Хоцзяао, она выла истошным голосом и ругалась, а когда ее принесли, была совсем без голоса и почти что онемела. Из носилок ее вытащили силой, но она ни за что не хотела поклониться алтарю, хотя ее держали двое мужчин, да помогал им еще брат ее первого мужа. А когда они немного ослабили руки — боже ты мой! — что тут только было! Она ринулась вперед и ударилась головой об угол жертвенного стола с такой силой, что разбила себе висок. Кровь так и хлынула. Рану сразу же присыпали пеплом от ароматных свечей, перевязали двумя кусками красного холста, но кровь никак не могли остановить. С трудом удалось запереть Сян-линь вместе с женихом в комнате для новобрачных, но она и там продолжала ругаться... Ай-яй-яй! Вот уж... — Тут старуха Вэй покачала головой и, скромно опустив глаза, замолчала.

— Ну, а что же было потом? — спросила тетушка Сы.

— Да, говорят, что на следующий день она так и не встала, — сказала старуха Вэй, подняв глаза.

— Ну, а дальше-то что было?

— Дальше?.. Встала. К концу года родила ребенка, мальчика. Теперь ему исполнилось уже два года. Когда я гостила у матери, из нашей деревни в Хоцзяао ходили люди. Они рассказывали, что видели Сян-линь и ее ребенка. И мать и ребенок полные, выглядят очень хорошо. Свекрови у нее нет. Муж здоровый, может работать. Дом у них свой... Ай-я! на этот раз ей повезло.

С тех пор тетушка Сы никогда не говорила о Сян-линь.

Как-то осенью, года через два после того, как стало известно о счастливом повороте в судьбе Сян-линь, она снова появилась в передней дома дядюшки Сы. На столе стояла небольшая корзинка в форме каштана, а у стены лежал узел с постелью. Волосы ее, как и прежде, были повязаны белым шнурком. И одета она была так же: черная юбка и синяя кофта на подкладке, а поверх безрукавка бледноголубого цвета. Желтоватое лицо стало еще бледнее — ни кровинки. Взгляд все тот же — открытый и покорный; по глазам ее было видно, что она много плакала. Привела ее опять та же старуха Вэй, которая с состраданием твердила тетушке Сы:

— ...Вот уж поистине, как говорится, с ясного неба гром грянул. Кто бы мог такое подумать? Ведь муж у нее был совсем еще молодой и крепкий человек, а вот скончался от тифозной лихорадки. Он уже почти было поправился, да съел миску холодного риса, и все началось сначала; так он и умер. После него остался сын. Сян-линь сама могла работать: и деревья рубить, и чай собирать, и шелковичного червя выводить... прокормила бы и себя и ребенка. Но тут случилась новая беда: ребенка съел волк. Кто бы мог подумать, что в конце весны в деревню забежит волк! Теперь она осталась одна-одинешенька. Старший брат ее мужа забрал себе дом, а ее выгнал. Сян-линь некуда больше податься, вот она и решила обратиться к своим старым хозяевам. Сейчас она ничем не связана. Как раз вы, госпожа Сы, подыскиваете себе новую работницу, вот я и привела ее к вам... Ведь лучше взять ту, которой ваши порядки знакомы, чем брать чужую...

— Уж, видно, я совсем ума лишилась... — вступила в разговор тетушка Сян-линь, подняв свои безжизненные глаза. — Я знала, что звери забегают в деревню только зимой, когда выпадет снег и когда они не могут добыть себе пищи в горах. Никак не думала я, что волки могут появиться в селении весной. Я как встала утром, так и раскрыла двери. Взяла маленькую корзиночку, наложила в нее бобов и сказала нашему А-мао, чтобы он сел на порог и почистил их. Он был очень хороший мальчик и всегда меня слушался. Он взял корзиночку и вышел. Сама я пошла за дом, нарубила дров, промыла рис и засыпала его в котел. Потом решила сварить бобы и позвала А-мао. Он мне не ответил. Я пошла посмотреть — нет нигде моего мальчика, только на земле лежат разбросанные бобы. Один он никогда не уходил... Я у всех спрашивала, — никто его не видел. Я испугалась и попросила соседей помочь мне найти моего А-мао. Мы искали его до полудня, все вокруг обыскали, и наконец кто-то пошел в горы. Там на кустарнике нашли башмачок моего сыночка. Тут уж все стали говорить, что случилась беда — моего сына утащил волк. Пошли дальше и нашли ребенка в логове волка. Бедный мальчик, он крепко держал в ручках корзиночку... — тут Сян-линь не выдержала и заплакала.

Вначале тетушка Сы колебалась, но когда выслушала печальный рассказ, глаза ее слегка покраснели. Подумав немного, она сказала, чтобы Сян-линь взяла свою корзинку и постель и шла в комнату для работницы. Старуха Вэй глубоко вздохнула, как будто у нее с плеч гора свалилась. Теперь вдова Сян-линь чувствовала себя в доме гораздо свободнее, чем прежде, и ей не надо было ничего указывать. Она прибрала свою постель, как будто и не уходила отсюда. Так она снова стала служанкой в Лучжэне, и попрежнему все звали ее тетушкой Сян-линь.

Но это была уже совсем не та Сян-линь. Дня через три хозяева стали замечать, что у нее нет прежнего проворства и память ее сильно ослабела. На мертвенно-бледном лице ее никогда не появлялась улыбка. В тоне тетушки Сы теперь часто проскальзывали нотки недовольства.

Дядюшка Сы, по своему обыкновению, нахмурил брови, когда Сян-линь снова появилась у них, но, узнав, что не так-то легко найти хорошую работницу, не стал возражать. Он только предупредил тетушку Сы, что, хотя Сян-линь и вызывает чувство жалости, не следует забывать, что она нарушила существующие обычаи, и если вообще можно пользоваться ее услугами, то ни в коем случае нельзя допускать ее к подготовке жертвенных даров. Все приготовления к молению о счастье придется делать самим, иначе жертвоприношения будут нечистыми, и боги счастья могут отказаться от них.

Самая большая работа в доме дядюшки Сы была как раз связана с подготовкой к церемонии жертвоприношений. Прежде Сян-линь со всей работой справлялась одна, а теперь оказалась без дела. Посреди зала поставили стол и накрыли его праздничной скатертью. Сян-линь помнила, как следует расставить чашечки для вина и палочки для еды.

— Сян-линь! Оставь, я сама сделаю, — поспешно сказала тетушка Сы.

Сян-линь, не понимая, что случилось, неловко отдернула руки и пошла за подсвечником. Снова раздался торопливый голос тетушки Сы:

— Сян-линь, не надо, я сама принесу!

Побродив без дела по комнате, Сян-линь вышла. За

весь этот день она только и делала, что поддерживала огонь в печке.

Хотя жители Лучжэня попрежнему называли ее тетушкой Сян-линь, они разговаривали с ней теперь другим тоном. В нем чувствовались и холодок и насмешка. Сама Сян-линь этого не замечала. Встречаясь с людьми, она смотрела прямо перед собой, не мигая, и всем рассказывала свою печальную историю, о которой не могла забыть ни днем, ни ночью.

— Уж, видно, я совсем ума лишилась, — твердила она. — Я знала, что звери забегают в деревню только зимой, когда выпадет снег и когда они не могут добыть себе пищу в горах. Никак не думала я, что они могут появиться в селении весной. Я как встала утром, так и раскрыла двери. Взяла маленькую корзиночку, наложила в нее бобов и сказала нашему А-мао, чтобы он сел на порог и почистил их. Он был очень хороший мальчик и всегда меня слушался. Он взял корзиночку и вышел. Сама я пошла за дом, нарубила дров, промыла рис и засыпала его в котел. Потом решила сварить бобы и позвала А-мао; он мне не ответил. Я пошла посмотреть, — нет нигде моего мальчика, только на земле лежат разбросанные бобы. Один он никуда не уходил. Я всех спрашивала, никто его не видел. Я испугалась и попросила соседей помочь мне найти моего А-мао. Мы искали его до полудня, все вокруг обыскали, и, наконец, кто-то пошел в горы. Там на кустарнике нашли башмачок моего сыночка. Тут уж все стали говорить, что случилась беда — моего сына утащил волк. Пошли еще дальше, и нашли ребенка в логове волка. Бедный мальчик, он крепко держал в ручке корзиночку... — в этом месте тетушка Сян-линь всегда обрывала свой рассказ: слезы не давали ей говорить.

Эта печальная история производила на слушателей большое впечатление. Даже мужчины, расстроенные, отходили прочь. Женщины как будто примирялись с тетушкой Сян-линь, прощали содеянный ею грех и не только переставали презирать ее, но и плакали вместе с ней над ее горем. Старушки, которым не удалось послушать Сян-линь, специально приходили к ней и просили рассказать ее горестную историю. Когда Сян-линь начинала плакать, старушки тоже обливались слезами. Затем, удовлетворен-

ные, тяжко вздыхая, они расходились по домам, обсуждая во всех подробностях историю бедной Сян-линь.

Тетушка Сян-линь безустали повторяла свой горестный рассказ, и всегда находилось несколько человек, готовых ее послушать.

Но скоро печальная повесть перестала трогать слушателей, и даже самые сердобольные и набожные старушки не проливали больше слез. Почти каждый житель Лучжэня мог в точности повторить историю тетушки Сян-линь. Теперь стоило ей произнести свою обычную фразу: «Уж, видно, я совсем ума лишилась...», как ее тотчас же прерывали: «Да, да! Ты знала, что звери забегают в деревню только зимой, когда в горах выпадает снег, и они не могут добыть себе пищу...» — и все отходили прочь.

Тетушка Сян-линь, застыв на месте с открытым ртом, не мигая, смотрела им вслед. Потом и она уходила, словно потеряв всякий интерес к своему рассказу. И все же она не упускала случая, под любым предлогом — попадется ли ей на глаза какая-нибудь корзиночка, бобы или чей-нибудь ребенок, — еще и еще раз вернуться к печальной истории о своем А-мао. Когда ей встречался ребенок, она говорила: «Ай-я! если бы наш А-мао был жив, он был бы теперь таким же большим...» Выражение глаз тетушки Сян-линь пугало маленьких ребят, и они в страхе хватались за подол матери или убегали. Сян-линь оставалась одна и, огорченная, уходила домой. Скоро это стало известно всем. Стоило показаться ребенку, как кто-нибудь, опережая Сян-линь, спрашивал: «Тетушка Сян-линь, если бы ваш А-мао был жив, он был бы теперь таким же большим?»

Возможно, сама тетушка Сян-линь и не подозревала, что ее печальный рассказ, так долго волновавший окружающих, всем надоел и вызывал теперь только раздражение. А может быть, в улыбках людей она уже угадывала насмешку, недоброе отношение к себе и решила не говорить больше о своем горе. Когда с ней кто-нибудь заговаривал, она только взглядывала на него и ничего не отвечала.

Новый год в Лучжэне всегда встречали торжественно. После двадцатого числа «месяца жертвоприношений» в местечке начиналась предпраздничная суета — все готовились к встрече Нового года. В доме дядюшки Сы спе-

циально наняли поденного работника, но и он не мог справиться со всей работой, и тогда в помощь ему позвали матушку Лю-ма. Надо было резать кур и уток, но матушка Лю-ма была верующей и ела только постную пищу: она отказалась резать птицу и согласилась лишь мыть посуду. Обязанности Сян-линь заключались теперь в том, чтобы поддерживать в печке огонь. Больше ей ничего не поручали, она сидела без всякой работы и безучастно смотрела, как Лю-ма перетирает посуду. Легкий снежок падал на землю.

— Ай-ай, уж, видно, я совсем ума лишилась, — взглянув на небо и тяжело вздохнув, пробормотала тетушка Сян-линь.

— Тетушка Сян-линь, и ты здесь? — произнесла матушка Лю-ма, с раздражением глядя на нее. — Вот что я хотела спросить: этот след у тебя на виске остался после того, как ты стукнулась об угол стола?

— У-гу, — невнятно ответила Сян-линь.

— Ты вот что мне скажи! — продолжала Лю-ма. — Как же это ты тогда уступила?

— Я-то?..

— Ну да, ты! Мне кажется, что не иначе, как тебе самой захотелось. Если бы не так...

— Ах-ах! Ты не знаешь, какой он был сильный.

— Не верю! Не могу поверить, чтобы такая сильная женщина, как ты, да не могла справиться с ним. Видно, сама согласилась. А теперь оправдываешься тем, что он был очень сильный.

— Эх ты... Ты бы сама попробовала... — и Сян-линь улыбнулась.

На сморщенном лице матушки Лю-ма тоже появилась улыбка, от этого оно сморщилось еще больше и стало похожим на скорлупу грецкого ореха. Выцветшими своими глазами она взглянула на висок тетушки Сян-линь, а потом пристально посмотрела ей в глаза. От этого взгляда Сян-линь стало не по себе, она сразу же перестала улыбаться, отвела глаза и стала смотреть, как падает снег.

— А ты ведь просчиталась, Сян-линь, — ехидно продолжала матушка Лю-ма. — Тебе бы надо было еще разок удариться да посильней. Лучше бы ты тогда умерла. А так что же получилось? Со вторым мужем ты не про-

жила и двух лет, а грех совершила большой. Сама подумай, попадешь на тот свет, а души твоих мужей начнут там из-за тебя драться. С кем же из них ты пойдешь? Князю ада Ян-ло придется распилить тебя пополам и отдать им по половинке... — При этих словах на лице старухи появилось выражение страха.

То, что сказала матушка Лю-ма, было для тетушки Сян-линь новостью: о таких вещах в деревне никто не знал.

— Я думаю, — продолжала матушка Лю-ма, — тебе надо заранее подготовиться к этому. Ты пойди в кумирню и сделай пожертвование: купи доску для порога. Этот порог будет как бы твоим телом; пусть тысячи людей пройдут по нему, пусть десятки тысяч людей топчут его. Так ты искупишь свой грех в этой жизни и спасешь себя от загробных мук.

Сян-линь ничего не ответила, но, вероятно, очень тяжело переживала все, что ей сказала старуха. На следующий день под глазами Сян-линь появились черные круги. После завтрака она отправилась в западную часть местечка, в кумирню местного бога, и попросила, чтобы ей разрешили пожертвовать доску для порога. Хранитель кумирни сначала отказал, но после настойчивых и слезных просьб наконец согласился. Доска для порога стоила сто двадцать медяков.

Тетушка Сян-линь давно уже не разговаривала с людьми, не желавшими больше слушать ее историю, но слухи об ее беседе с матушкой Лю-ма, очевидно, распространились по всему местечку, и многие стали снова проявлять к ней интерес. Теперь заводили разговор на новую тему, о шраме на ее виске.

— Сян-линь! Расскажи, как же это ты тогда согласилась? — начинал кто-нибудь.

— Да, жаль, что ты тогда напрасно стукнулась, — подхватывал другой, глядя на ее шрам.

По насмешливому тону и улыбкам тетушка Сян-линь чувствовала, что над ней хотят поиздеваться. Она только смотрела прямо перед собой и ничего не отвечала. Потом даже перестала оборачиваться, когда к ней обращались.

Со шрамом на лице, который все теперь считали знаком ее позора, она молча ходила по Лучжэню, молча уби-

рала дом, чистила овощи, промывала рис. Как раз истекал год ее работы. Она получила из рук тетушки Сы деньги, заработанные ею за все это время, — двенадцать юаней, и попросила разрешения пойти в западную часть местечка. Когда она вернулась домой, лицо ее выражало полное успокоение, и в глазах появились проблески жизни. Она радостно сообщила тетушке Сы, что пожертвовала деньги на порог для кумирни.

В день зимнего солнцестояния, когда совершается обряд поминания предков, она работала с удвоенной энергией. Увидев, что тетушка Сы приготовила все необходимое для поминания и вместе с А-ню устанавливает стол посреди залы, тетушка Сян-линь спокойно и уверенно направилась за чашечками для вина и палочками для еды. И вдруг тетушка Сы крикнула:

— Сян-линь, оставь это!

Как от раскаленного железа отдернула Сян-линь свои руки. Лицо ее потемнело. На этот раз она и не пыталась принести подсвечник и стояла, как потерянная.

Когда наступило время дядюшке Сы зажигать свечи, Сян-линь сказали, чтобы она покинула комнату. И она ушла. Тогда-то в ней и произошел перелом. На следующий день глаза Сян-линь глубоко запали, в них погасли последние проблески жизни, душевные силы покинули ее. Она стала всего бояться, ее пугала не только ночная тьма, но и любая тень. При виде людей, даже хозяев, сердце у нее сжималось от страха, как у крысы, выбежавшей днем из норы. Иногда она неподвижно сидела, напоминая деревянного истукана. Не прошло и полугода, как голова ее стала седеть, а память еще больше ослабела. Доходило до того, что она забывала промывать рис.

— Что же это стало с Сян-линь? — говорила тетушка Сы в ее присутствии. — Уж лучше было бы не нанимать ее.

Эти слова должны были послужить предупреждением тетушке Сян-линь. Но она оставалась все такой же; очевидно, теперь уж не было никакой надежды, что вернется к ней былое проворство и ловкость в работе. Было решено отправить Сян-линь обратно к старухе Вэй, но, пока я жил в Лучжэне, все оставалось по-старому. Судя по тому, что затем произошло, они все-таки выполнили свое решение. Стала ли Сян-линь нищенствовать сразу, как ушла из

дома дядюшки Сы, или же она сначала поселилась в доме старухи Вэй, а потом стала нищенкой, — этого я не знаю...

Мои размышления прервал оглушительный треск хлопушки, разорвавшейся поблизости. В воздухе рассыпались огромные, как бобы, искры ракет. Это означало, что в доме дядюшки Сы происходит «моление о счастье». Было около пяти часов утра.

Не совсем еще придя в себя, я стал прислушиваться к глухому треску хлопушек, и мне казалось, что гул этот, сливаясь с массой танцующих в воздухе снежинок, окутывает весь Лучжэнь. Грохот хлопушек помог мне немного рассеяться, и я почувствовал себя лучше. Сомнения и тревоги, которые я испытывал накануне, были развеяны торжеством моления о счастье. Мне казалось, что сонмы небесных обитателей приняли приносимые им дары и сейчас, опьяненные жертвенным вином и ароматными курениями, пьяные, разгуливают по небу и готовят жителям Лучжэня счастье без границ и пределов.

Февраль 1924 г.





В КАБАЧКЕ

Путешествуя с севера на юго-восток, я свернул в сторону, чтобы навестить родные места, и остановился в городке С. Отсюда до моей родной деревни всего тридцать ли, на небольшой лодке туда можно доехать меньше чем за полдня.

Когда-то я в течение года был преподавателем в здешней школе.

Стояла глубокая зима, выпал снег, природа застыла от холода; потянулись одна за другой неотвязные мысли о прошлом. Я решил задержаться на несколько дней в городке и поселился в гостинице «Лосы». Раньше этой гостиницы не было. Я сразу же отправился разыскивать своих старых сослуживцев, которые, по моим расчетам, должны были жить здесь, но ни одного не нашел, и никто не знал, куда они уехали. Я прошел мимо школьных ворот: название школы и ее внешний вид изменились, для меня они стали совсем чужими. Я вернулся в гостиницу; мое хорошее настроение сменилось апатией, я пожалел, что, остановившись в пути, доставил себе лишние хлопоты.

Из окна моей комнаты была видна лишь стена, вся в пятнах и потеках, покрытая сухим мхом; небо было свинцовое, без всяких оттенков; в воздухе снова затанцовали снежинки. Я не знал, чем развлечься, и вдруг вспомнил, что прежде здесь был хорошо мне знакомый кабачок «Ишицзюй». Я почувствовал голод — обед в гостинице был несытный и безвкусный. Не долго думая, я запер свой

номер на ключ и отправился в кабачок. Мне хотелось спастись от хандры, которая находит на человека, путешествующего в одиночестве. Кабачок был недалеко от гостиницы; его мрачный фасад и ветхая вывеска остались прежними, но внутри не было ни одного знакомого мне человека. В «Ишицзюй» я тоже стал чужим.

По знакомой лестнице в углу здания я поднялся на второй этаж. Наверху, как в былые времена, стояло пять дощатых столов; только заднее окно, прежде заклеенное бумагой, теперь было застеклено.

— Один цзинь шаосинского вина... На закуску? Дайте порцию вареного соевого сыра да побольше острого соуса!

Разговаривая со слугой, поднявшимся со мной наверх, я сел за столик у окна. В кабачке было пусто — ни одной живой души, и я выбрал лучшее место, откуда можно было видеть запущенный сад. Сад этот, видимо, не принадлежал кабачку; прежде, бывало, я тоже часто любовался им, особенно в снежные дни. Но сейчас я смотрел на него глазами, привыкшими к северу, и все мне казалось удивительным. Несколько старых слив, наперекор снегу, стояли в цвету, для них словно не было зимы. Около обвалившейся беседки рос куст горного чая, в его густых темнозеленых листьях, покрытых снегом, пылали красные цветы, они глядели гневно и горделиво, как бы презирая помыслы путешественника, стремящегося в дальний путь. Как обильно здесь выпал снег! Мягкий снег — прилип и не отвалится, — сверкающий, как драгоценные каменья, он совсем не похож на северный снег — сухой, как пыль, взметающийся ввысь от каждого дуновения ветра и дымной мглой наполняющий воздух.

— Господин, вино подано... — лениво сказал мне слуга и поставил на столик рюмку, оловянный чайник с вином и тарелки, потом положил палочки для еды. Вот и вино подано! Я обернулся к столу, расставил прибор, налил вина. На севере, вдали от родных мест, я чувствовал себя чужим, а вот теперь — и на юге я только гость. Что мне до того, что там сухой снег разлетается пылью, а здесь приникает ко всему, мягкий и сверкающий. Мне стало грустно, и я с наслаждением отпил глоток вина. Вино было превосходное, а соевый сыр отлично сварен; жаль только, что соус был пресным: жители городка С. не знают толку в острых приправах.

Вероятно потому, что была уже послеобеденная пора, в кабачке царила тишина и все столики, кроме моего, пустовали. Я выпил три рюмки вина и смотрел в окно на запущенный сад. Чувствовал я себя одиноко, но мне не хотелось, чтобы в кабачок кто-нибудь зашел. Как назло, на лестнице послышались шаги, кто-то поднимался наверх. Но это был слуга, и я успокоился.

Спустя некоторое время снова послышались шаги, и я решил, что на этот раз непременно войдет какой-нибудь посетитель. Поступь была тяжелее, чем у слуги. Подождав минуту, я с опаской взглянул на дверь, в которую должен был войти незваный гость, и тут же в изумлении привстал: я увидел своего старого приятеля, — если только сейчас он позволит мне так называть себя, — старого школьного товарища и сослуживца. Он очень изменился, но я узнал его с первого взгляда. Его движения стали вялыми и неуверенными. Он ничем не напоминал прежнего энергичного и подвижного Люй Вэй-фу.

— Вэй-фу! Ты ли это? Вот уж не думал тебя здесь встретить!

— А-а! Это ты? Какая неожиданность...

Я пригласил его к своему столу. Он подошел не сразу, слегка смущенный. Меня это удивило. Я пригляделся к нему, и мое удивление сменилось жалостью. Только волосы его были попрежнему взлохмачены, землистое продолговатое лицо сильно исхудало, и весь он как-то опустился, должно быть, от житейских неудач. Глаза под нависшими черными бровями потеряли свой прежний блеск, но когда он, медленно оглядев комнату, перевел взгляд на запущенный сад, в них неожиданно мелькнул знакомый мне живой огонек.

— Давно мы расстались, пожалуй, лет десять, — сказал я, радуясь встрече и вместе с тем испытывая какое-то стеснение. — Я знал, что ты был в Цзинани, но, по правде сказать, лень одолела, — так и не написал тебе ни одного письма...

— Я тоже. Но теперь вот уже больше двух лет я со своей матерью живу в Тайюани. Я приезжал сюда за ней и узнал, что тебя здесь нет.

— Что же ты делаешь в Тайюани? — спросил я.

— Учительствую в семье одного земляка.

— А до этого?

— А до этого? — он вытащил из кармана сигарету, зажег спичку и закурил; выпуская изо рта колечки дыма, он долго разглядывал их и вдруг, словно очнувшись от глубокого раздумья, ответил на мой вопрос:

— До этого я занимался всякими пустыми делами, то есть ничего не делал.

Он помолчал, потом в свою очередь спросил, что я делал с тех пор, как мы расстались. Прервав свой рассказ, я крикнул слуге, чтобы он принес еще один прибор и рюмку, решив, что мы допьем мое вино, а потом я закажу еще два цзиня. Мы долго выбирали закуску. Когда-то наши отношения были простыми, а теперь почему-то мы стали чрезмерно учтивы; я не помню, кто из нас заказал какое блюдо, но из того, что предложил нам слуга, мы выбрали четыре: бобы с укропом, студень, вареный соевый сыр и жареную макрель.

— Только вернувшись в С., я понял, как я смешон, — полушутя сказал Вэй-фу. В одной руке у него была сигарета, в другой рюмка. — В детстве мне приходилось наблюдать, как пчела или муха, когда их вспугнешь, взлетают и, сделав небольшой круг, опять садятся на старое место. Тогда мне это казалось смешным и жалким. А вот теперь я и сам, сделав маленький круг, прилетел обратно. Но кто думал, что ты тоже вернешься на старое место. Разве ты не мог улететь подальше?

— Трудно сказать. Видимо, дальше этого маленького круга не улетишь, — также полушутя ответил я. — Но скажи, зачем ты прилетел обратно?

— Ради тех же пустых дел. — Он залпом выпил рюмку вина и несколько раз жадно затянулся сигаретой; глаза его расширились. — Пустых... но давай побеседуем о них.

Слуга принес вино и закуску и заставил ими весь стол; в воздух поднимался табачный дым и пар от вареного соевого сыра; стало уютней; за окном хлопьями падал снег.

— Ты помнишь, — продолжал Вэй-фу, — у меня был маленький брат; он умер, когда ему было три года; здесь его и похоронили. Я даже не представляю себе отчетливо его лицо, но, по словам матери, это был очень милый ребенок и сильно ко мне привязан! Мать до сих пор плачет о нем. Весной этого года двоюродный брат написал нам, что могилка постепенно размывается водой, что скоро она

может обвалиться в реку и надо немедленно принять меры. Как только мать об этом узнала, она потеряла сон и покой. Беда в том, что она умеет читать и сама прочла письмо. У меня не было ни денег, ни времени, и я не мог ничего предпринять. Вот только теперь, воспользовавшись новогодними каникулами, я собрался и приехал сюда.

Он осушил еще одну рюмку и, глядя в окно, медленно продолжал:

— Там, на севере, среди выпавшего снега не цветут цветы и под снегом земля замерзает... Я купил в городе гробик, — ведь тот, что в земле, давно уже сгнил, — захватил с собой вату и одеяло, нанял четырех землекопов и отправился на кладбище, чтобы перенести прах. На кладбище мы убедились, что река действительно размыла берег, и до могилы оставалось не больше двух чи. Два года ее не приводили в порядок, и она почти совсем сравнялась с землей. Стоя в снегу, я скомандовал землекопам: «Копайте!» Я маленький человек, но на этот раз для меня самого мой голос прозвучал необычайно: ведь это было самое важное приказание, какое я когда-либо отдавал в своей жизни. Землекопы этим нисколько не были потрясены и приступили к делу. Когда могилу раскопали, я подошел и увидел, что от гроба осталась лишь кучка древесной трухи и несколько полусгнивших дощечек. С замирающим сердцем я сам принялся осторожно разбирать все это. И ничего — ни одеяла, ни одежды, ни скелета, — ничего там не оказалось. Я решил, что все уже истлело. Но волосы? Я слышал когда-то, что волосы сохраняются. И я стал еще пристальнее разглядывать землю там, где должно быть изголовье. Нет, я ничего не нашел. Не осталось и следа!

Вдруг я заметил, что глаза Вэй-фу покраснели. «Это от вина», — подумал я. Он ничего не ел, только все время пил. Выпил он много, стал более оживленным и чем-то напомнил мне прежнего Люй Вэй-фу. Приказав слуге принести еще два цзиня вина, я поднял рюмку и, глядя ему в лицо, приготовился слушать дальше.

— Собственно говоря, теперь не было никакой надобности переносить прах, оставалось лишь снова сравнять землю, продать привезенный гроб и на этом считать дело законченным. Правда, многим показалось бы странным, если бы я пошел продавать гроб, но в лавке, конечно,

взяли бы его обратно по дешевой цене; во всяком случае я выручил бы несколько медяков на вино. Но я не из таких; я все-таки расстелил одеяло, собрал в вату землю с того места, где прежде лежал труп, запеленал сверток и положил его в новый гроб; потом перенес его на кладбище, где был похоронен отец, и зарыл рядом с его могилой. Я распорядился обложить новую могилку кирпичом, и почти весь день вчера потратил на присмотр за этой работой. Теперь все закончено, я сделал достаточно, чтобы успокоить мать и отвлечь ее от грустных мыслей.

Вдруг он усмехнулся и спросил:

— Что ты так смотришь на меня? Удивлен, что я так изменился? Да, я тоже еще помню то время, когда мы с тобой ходили в храм духа — покровителя города — и выдергивали бороды у богов; помню, как мы целыми днями спорили о будущих судьбах Китая, и частенько у нас дело доходило до драки. Но теперь я стал другим, все делаю спустя рукава, ко всему отношусь безразлично. Иногда я и сам думаю, что если бы мои прежние друзья увидели меня, они, пожалуй, не пожелали бы признать меня своим другом. Да, я стал другим. — Он достал еще одну сигарету и снова закурил. — Я вижу, что ты все еще питаешь какие-то надежды... Правда, я сейчас очень слабо соображаю, но кое-что еще в состоянии понять. Это меня очень трогает и волнует. Но боюсь, что я не оправдаю надежд моего старого друга.

Он помолчал, затянулся сигаретой и тихо продолжал:

— Вот и сегодня, перед тем как притти сюда, я совершил одно пустое дело, но опять же только потому, что сам этого хотел. Нашего соседа зовут Чжан Фу; он — лодочник. У него была дочь А-шунь; ты, вероятно, видел ее, когда приходил ко мне, но не обращал внимания, тогда она была еще маленькой. Потом она подросла, и ее отнюдь нельзя было назвать красавицей: у нее было самое обыкновенное лицо с желтоватой кожей; только глаза были удивительно большие, с длинными ресницами, чистые и темные, как ночное безоблачное небо... да, такое небо бывает в безветреную погоду на севере, здесь оно не такое прозрачное. Десяти лет она потеряла мать, и на нее легли заботы об отце и младших детях — брате и сестре. В доме все требовало ее внимания; она была умелой хозяйкой, и положение семьи улучшилось. Соседи хвалили

ее, сам Чжан Фу был ей благодарен. Когда я собирался ехать сюда, моя мать вспомнила о ней; ведь старые люди хорошо помнят прошлое. Она вспомнила, как А-шунь когда-то плакала из-за того, что не могла достать себе красный бархатный цветок для волос, такой, как она где-то видела. Она долго плакала, и отец побил ее. Бархатные цветы — вещь привозная, и в городке С. их не купишь. А-шунь и мечтать не могла, что у нее когда-нибудь будет такой цветок. Воспользовавшись моей поездкой в С., мать поручила мне купить два цветка и подарить их А-шунь.

Это поручение не было обременительным, оно даже меня радовало. Признаться, мне хотелось услужить ей. В позапрошлом году, когда я приезжал сюда за матерью, я зашел к отцу А-шунь и разговорился с ним. Он угостил меня сладким блюдом из кукурузной муки и сказал, что туда добавлен заморский сахар. Ты только подумай: лодочник, у которого в доме водится европейский сахар!.. Ясно, этот лодочник не бедняк, раз он ест, не отказывая себе ни в чем. Я попросил дать мне маленькую чашку. Как человек бывалый, он сказал А-шунь: «Ученые люди плохо кушают. Ты возьми маленькую чашку да прибавь побольше сахару!» Но когда мне подали еду, я испугался — чашка была такая, что мне хватило бы ее на целый день. Она могла показаться маленькой только в сравнении с чашкой Чжан Фу. Мне ни разу в жизни не приходилось есть кукурузную муку с сахаром; я попробовал, и мне не понравилось, но я понял, что если оставлю несъеденным больше половины чашки, А-шунь обидится и почувствует себя виноватой. Тогда я стал запихивать еду и глотал так же быстро, как Чжан Фу. Тут только я узнал, как трудно есть через силу. Помню, в детстве я испытал подобные страдания, когда меня заставили съесть чашку глистогонного лекарства, смешанного с сахарным песком. Счастливая улыбка А-шунь с лихвой вознаградила меня за все мои муки. И хотя в ту ночь после сладкой кукурузной каши меня преследовали кошмарные сны, я все-таки желал А-шунь счастья и хотел, чтобы для нее все изменилось к лучшему. Потом я посмеялся над собой, уехал и обо всем забыл.

Когда мать заговорила о бархатном цветке, — я ведь не знал, что А-шунь плакала из-за него — я вспомнил слу-

чай с кукурузной кашей, и мне захотелось чем-нибудь обрадовать девушку.

За окном послышался шорох. Пласт снега соскользнул с куста горного чая; ветви выпрямились, обнажились темные глянцовитые листья, и алые, как кровь, цветы запылали еще ярче. В свинцовом небе не было просвета, земля покрылась снегом, птицы, не находя себе пищи, спешили в свои гнезда. Наступали сумерки.

Вэй-фу взглянул в окно, залпом выпил еще одну рюмку и, несколько раз затянувшись сигаретой, продолжал свой рассказ.

— В Байюани я не нашел цветов и отправился в Цзинань... Там мне удалось купить бархатные цветы. Я не знал, какой цвет ей больше нравится, поэтому взял один темнокрасный цветок, а другой — розовый и привез их сюда.

Сегодня после обеда я пошел к Чжан Фу; ради этого я нарочно задержался на один день. Дом его стоит на прежнем месте, но стал каким-то мрачным. У ворот я увидел младших детей — сына и вторую дочь, А-чжао. Они подросли... А-чжао ничем не напоминает старшую сестру, она подвижна, как чертенок. Заметив, что я направляюсь к их дому, она стремглав бросилась во двор. Мальчуган сказал мне, что отца нет дома.

— А твоя старшая сестра?

Уставившись на меня, он спросил, для чего она мне нужна, да так зло, точно хотел наброситься на меня и укусить. Я ушел, и все стало мне безразлично... Ты знаешь, я всегда боялся ходить к людям, а теперь еще больше боюсь. Я сам себе кажусь назойливым, так к чему же еще заставлять людей чувствовать себя неловко в моем присутствии? Но поручение матери я не мог не выполнить; поразмыслив, я решил зайти в дровяную лавчонку, наискосок от дома Чжан Фу. Мать хозяина, бабушка Лао-фа, оказалась еще жива. Она узнала меня и пригласила войти. После обычных приветствий я рассказал ей, зачем приехал сюда, и потом спросил о Чжан Фу и А-шунь. Она горестно вздохнула и ответила:

— К сожалению, А-шунь не суждено носить эти цветы.

Вот что она мне рассказала:

«Весной прошлого года А-шунь заболела желтухой, потом затосковала и часто плакала, а когда ее спраши-

вали, что с ней, — молчала. Ее слезы выводили отца из терпения, и он ругал ее: «Большая, а ума не нажила». Осенью она простудилась, слегла и больше не вставала. Незадолго до смерти она призналась Чжан Фу, что уже давно — так было и с ее покойной матерью — харкает кровью и по ночам потеет: она скрывала это, чтобы не беспокоить отца. Однажды поздно вечером пришел ее дядя, Чжан Гэн, и стал требовать денег взаймы, — такие случаи бывали часто, — девушка отказала, и тогда Чжан Гэн, злорадно усмехаясь, сказал ей: «Не задавайся, твой будущий муженек еще почище меня!» С тех пор она еще больше загрустила, но расспросить отца стыдилась и только плакала. Когда Чжан Фу успокаивал А-шунь, что ее будущий муж человек работящий, она не верила и все твердила: «Хорошо, что я умираю, теперь мне все равно».

Если бы ее будущий муж на самом деле был хуже, чем Чжан Гэн, это было бы страшно, — продолжала свой рассказ бабушка Лао-фа. — Что же это за мерзавец, если мелкий воришка Чжан Гэн, и тот лучше него? Но когда он пришел на ее похороны, я своими глазами увидела: одет чисто, человек солидный. Заливаясь слезами, он говорил: «Полжизни работал лодочником, трудами и лишениями скопил денег, чтобы посвататься к девушке, а она умерла». Видно было, что он действительно хороший человек: то, что сказал о нем Чжан Гэн, было ложью. Жаль, что А-шунь умерла. Но винить в этом нельзя никого. Беда в том, что А-шунь не было суждено узнать счастья».

— Вот и все... Мне здесь больше нечего делать... Вот только остались бархатные цветы. Я попросил бабушку Лао-фа подарить их А-чжао, той самой А-чжао, которая стремглав убежала от меня, вероятно, приняв за волка. У меня, право, не было никакого желания самому дарить ей цветы. Я послал их лишь для того, чтобы сказать матери, что А-шунь была очень рада подарку... Какой смысл во всех этих пустых делах? Лишь бы как-нибудь... Вот пройдет новый год, а там я опять буду по старинке учить детей конфуцианскому канону.

— Разве ты преподаешь конфуцианский канон? — удивился я.

— Конечно. Ты что думаешь, я учу их европейской азбуке? Сначала у меня было два ученика: один учил «Ши-цзин», а другой — «Мэн-цзы»; недавно прибавилась

еще одна девочка, с ней мы учим «Нюйэр-цзин» *. Даже арифметике, и той я их не обучаю — не потому, что не хочу, а потому, что не хотят родители.

— Вот уж никогда бы не подумал, что ты возьмешься за преподавание таких предметов...

— Родители требуют, чтобы я учил их детей именно этому, и я ничего не могу поделать. Какой смысл во всех этих пустых делах? Лишь бы как-нибудь...

Лицо его покраснело, он сильно опьянел, но блеск его глаз снова погас. Я тихо вздохнул и не нашелся, что сказать. На лестнице послышался шум, ввалилось несколько посетителей: впереди шел человек небольшого роста, с опухшим круглым лицом; второй был высокий, на его лице резко выдавался красный нос. Вслед за ними вошли еще несколько человек; от топота их ног весь кабачок заходил ходуном. Я посмотрел на Люй Вэй-фу, он взглянул на меня, и я подозвал слугу, чтобы расплатиться.

— Разве ты можешь прожить на свое жалованье? — спросил я Вэй-фу, собираясь встать из-за стола.

— Ну... я получаю в месяц двадцать юаней, не очень-то сведешь концы с концами.

— В таком случае, что ты собираешься делать дальше?

— Дальше? Не знаю. Посмотри, разве осуществилось хоть одно из наших былых желаний? Сейчас я ничего не знаю, не знаю даже, что будет завтра или через минуту...

Слуга принес счет. Люй Вэй-фу молча взглянул на меня и продолжал курить, видимо, не возражая против того, чтобы я заплатил.

Мы вместе вышли из кабачка. Наши гостиницы были в противоположных концах городка, и мы распрощались у выхода. Холодный ветер и хлопья снега били в лицо, но я бодро зашагал к себе в гостиницу. Наступил вечер. Дома и улицы были окутаны белым кружевом падающего снега.

Февраль 1924 г.





СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Посвящается Сюй Цинь-вэню[1]

«...Творить или не творить зависит от автора. Создание литературного произведения подобно солнечному лучу, брызжущему из неисчерпаемого источника света, а не искре, высекаемой из кремня и железа; только такое произведение будет произведением подлинного искусства, а его автор — истинным художником... А я?.. Кто же я такой?»

При этой мысли он даже подскочил на кровати. Он давно уж собирался написать что-нибудь и получить гонорар, необходимый для существования его семьи. Он заранее решил опубликовать свое произведение в ежемесячном журнале «Счастье» только потому, что там платят сравнительно щедро.

«Но в литературном произведении должна быть определенная идея, иначе, пожалуй, его не напечатают... Какой же главный вопрос волнует умы современной молодежи? Вероятно, таких вопросов немало, но наибольший интерес вызывают проблемы любви, брака, семьи... Да, эти вопросы сейчас широко обсуждаются. Значит, надо писать о семье... Но как писать? Произведение, оторванное от жизни, могут не принять, но...»

Тут он соскочил с кровати, подошел к письменному столу, сел, вынул бумагу, разлинованную для иероглифов

---

[1] Сюй Цинь-вэнь — писатель-реалист, друг и ученик Лу Синя.

на зеленые клетки, и без колебаний, почти бессознательно, написал название: «Счастливая семья».

Здесь кисточка застыла в его руке. Он поднял голову и уставился в потолок, раздумывая о том, где же ему поселить эту счастливую семью.

«Пекин? Нет. Не годится. Слишком уж там душная атмосфера, там даже воздух как будто мертвый. Даже если оградить эту семью четырьмя высокими стенами, вряд ли можно изолировать ее от этой атмосферы. Нет, Пекин не подходит. В провинциях Цзянсу или Чжэцзян со дня на день начнется гражданская война. О провинции Фуцзянь просто и говорить нечего. В провинции Сычуань или Гуандун? Там уж идет война. Может быть, в провинции Шаньдун или Хэнань? Ой! Ой! Там бандиты воруют людей, а если похитят кого-нибудь из этой семьи, ее уже нельзя будет назвать счастливой семьей. На территории иностранных концессий в Шанхае или Тяньцзине квартирная плата очень высока... Поселить их за границей? Смешно!.. Не знаю, как в провинциях Юньнань или Гуйчжоу? Но пути сообщения там крайне неудобны...»

Он долго думал, но так и не мог придумать, где бы поселить свою счастливую семью, и уж совсем было решил обозначить ее местожительство буквой «А».

«Но сейчас многие возражают против употребления европейского алфавита для обозначения имен и географических названий; утверждают, что это ослабляет интерес читателя. Пожалуй, лучше к этому не прибегать, так будет спокойнее... Но где же мне ее поселить? В Дайрене? Там опять-таки квартирная плата высокая. Чахар, Гирин, Хэйлунцзян? Нет, это тоже не подходит. Говорят, там даже конные бандиты водятся...»

Несмотря на все старания, ему так и не удалось выбрать подходящее место, и он остановился на том, что его счастливая семья живет в городе «А». У него просто не было другого выхода.

«Вполне понятно, что в счастливой семье должны быть муж и жена или хозяин и хозяйка дома, вступившие в брак по своей воле. Они подписали брачный договор из сорока с лишним пунктов, необычайно подробный и поэтому необычайно равноправный и свободный. Оба они получили высшее образование, отличаются утонченными манерами, возвышенным образом мыслей. Студенты, учив-

шиеся в Японии, теперь вышли из моды; предположим, что наши герои учились в Европе. Муж носит только европейскую одежду, воротничок у него всегда белоснежный; у жены пышно взбитые волосы приподняты над лбом, как воробьиное гнездо. Она все время улыбается, показывая свои белоснежные зубы, но платье пусть носит китайское...»

— Нет, нельзя, нельзя! Так не пойдет! Здесь двадцать пять цзиней! — вдруг послышался за окном мужской голос.

Он невольно обернулся, чтобы посмотреть, кто это разговаривает. Но занавески были опущены, — солнце светило так ослепительно, что даже рябило в глазах. За окном раздался грохот, очевидно на землю сбрасывали поленья.

«Это меня не касается, — подумал он про себя и снова повернулся к столу. — А что это за двадцать пять цзиней?» — невольно мелькнуло у него в голове...

«Итак, они люди утонченные, возвышенные, очень любят литературу. Однако с детских лет они росли в атмосфере счастья и поэтому не любят романов русских писателей. В русской литературе описывается жизнь низших классов, и для счастливой семьи она не годится. «Двадцать пять цзиней...» Это меня не касается!

...Что же они читают? Стихи Верлена? Китса? Нет, это им совсем не подходит, как-то несолидно. Ага! Нашел! Нашел! Им очень нравится «Идеальный муж». Хотя я сам и не читал этой вещи, но раз профессора университета хвалят ее, думаю, что она им тоже нравится. Он читает, она читает... У каждого есть свой экземпляр. Значит, всего в счастливой семье два экземпляра...»

Тут он почувствовал, что в животе у него пусто, бросил кисточку и обеими руками подпер голову. Она повисла, как шар между двумя столбами.

«...Они сейчас завтракают. Стол накрыт белоснежной скатертью; повар подает еду — китайские блюда... Что же это за «двадцать пять цзиней»? Неважно!.. Так, значит, у них китайский стол? Европейцы утверждают, что китайская кухня — самая разнообразная, самая вкусная и самая здоровая. Поэтому они и держатся китайской кухни. Подано первое блюдо. Какое же им подали первое блюдо?»

— Дрова...

Он испуганно оглянулся. Рядом стояла его собственная жена, уныло уставившись на него темными, печальными глазами.

— Ты что? — спросил он сердито, раздраженный тем, что жена помешала его творческой работе.

— Дрова все вышли... я купила сегодня немножко... В прошлый раз десять цзиней стоило два мао и четыре фыня, а теперь торговец хочет два мао и шесть фыней. Я думаю дать ему два мао и пять фыней. Как ты скажешь?

— Ладно, ладно, дай ему два мао и пять фыней.

— Безмен у него очень неправильный. Он говорит, что там двадцать четыре с половиной цзиня, а по-моему двадцать три с половиной цзиня. Как ты думаешь?

— Ладно, ладно! Двадцать три с половиной.

— Значит, пятью пять — двадцать пять; трижды пять — пятнадцать...

— Да, да, пятью пять — двадцать пять, а трижды пять — пятнадцать, — он помолчал, потом рывком схватил кисточку и стал подсчитывать на листке бумаги в зеленую клетку, на котором было написано «Счастливая семья». Через минуту он поднял голову и сказал:

— Пять мао и восемь фыней.

— Тогда у меня нехватает восьми или девяти фыней.

Он выдвинул ящик письменного стола, взял все медяки, монет двадцать, и положил деньги в ее протянутую руку. Жена вышла из комнаты, и он снова склонился над столом. Ему казалось, что голова его распухла, как будто в нее навалили корявых поленьев... Пятью пять двадцать пять... В его мозг точно врезались арабские цифры из таблицы умножения. Он набрал в легкие воздуху и с силой выдохнул его, словно хотел выбросить из своей головы застрявшие там поленья и цифры. Как будто стало легче, и беспорядочные мысли снова закружились в его голове.

«...Какое же блюдо? Оно должно быть необычным. Филе с подливкой, креветки с трепангами — все это слишком обычно. Мне хотелось бы написать, что они ели «битву дракона с тигром». Но что это за блюдо? Некоторые говорят, что это особо приготовленное мясо змеи и кошки, что в кантонской кухне оно считается деликатесом и подается только на больших изысканных банкетах. Но я как-то видел название этого блюда в меню ресторанов в провинции

Цзянсу, а известно, что жители Цзянсу не едят ни змей, ни кошек, скорее всего, это мясо съедобных лягушек и угрей.

Тут опять возникает вопрос — откуда же родом мои супруги? Пустяки! Не все ли равно, будут они есть змею и кошку или лягушек и угрей. Счастливая семья от этого не пострадает.

Итак, первое блюдо у них будет «битва дракона с тигром», и хватит об этом рассуждать!

Когда им подают первое, супруги одновременно поднимают палочки, указывая на блюдо, и улыбаются друг другу:

— My dear, please...

— Please you eat first, my dear.

— Oh, no, please you...[1]

Они одновременно опускают палочки и одновременно берут по кусочку змеиного мяса... Нет, нет, змеиное мясо — это уж слишком! Пусть лучше это будет угорь. Итак, «битва дракона с тигром» приготовлена из лягушек и угря. Они одновременно вытаскивают по кусочку угря, совершенно одинаковому... «пятью пять — двадцать пять... трижды пять...» это меня не касается... и одновременно отправляют в рот».

Но внимание его рассеялось, и он никак не мог заставить себя сосредоточиться. Ему захотелось оглянуться: кто-то шумел за его спиной — то входил, то выходил из комнаты. Раздраженный, он неожиданно подумал:

«Пожалуй, тема не совсем удачна... Где найдешь такую семью? Ай, ай, путаница какая-то в мыслях! Боюсь, что прекрасная тема так и пропадет... Может быть, лучше, если они получат высшее образование не за границей, а в Китае? Они окончили университет, они культурны, воспитанны и возвышенны. Культурны... Муж — писатель, она тоже писательница, нет, лучше поклонница литературы. Или, наоборот, она — поэтесса, а он поклонник поэтов и поклонник женщин. Или же...»

Наконец он потерял терпенье и оглянулся.

Позади него, рядом с книжным шкафом, свалили кучу

---

[1] — Прошу, моя дорогая...
— Нет, дорогой мой, сперва отведай ты.
— Ах, нет, пожалуйста, ты сперва! (*Испорч. англ.*)

свежей капусты. Внизу лежали три вилка, в середине два и наверху один, составляя вместе огромную букву «А».

— Ай-я! — испуганно воскликнул он и почувствовал, как лицо его запылало, а в спине закололо множество тонких иголок. — Ох!.. — Он тяжело перевел дыхание, точно пытаясь избавиться от уколов этих иголочек, и снова вернулся к своим мыслям.

«Итак... — дом у счастливой семьи должен быть большой, просторный. Прежде всего у них есть кладовая, куда складывают капусту. У хозяина отдельный кабинет, с расставленными вдоль стен книжными шкафами и, само собой разумеется, возле них нет никакой капусты. На полках китайские и иностранные книги и, конечно, среди них «Идеальный муж» в двух экземплярах. И спальня у них в отдельной комнате. Кровати из желтой меди, а можно и деревянные из вяза, сделаны они на тюремной фабрике. Под кроватями очень чисто...»

Тут он заглянул под собственную кровать, где обычно хранилось топливо. Дрова кончились, но на полу все еще валялась веревка, похожая на дохлую змею.

«Двадцать три цзиня с половиной!» — и он представил себе, как дрова сами плывут под кровать. В его голове опять был какой-то сумбур. Он быстро встал и подошел к двери, чтобы закрыть ее, но ему показалось, что это было бы грубостью, и он только спустил пыльную занавеску.

«Так лучше, — подумал он, — это нельзя назвать отрывом от внешнего мира, и в то же время занавеска спасает от неудобства, которое создают открытые двери. Короче говоря, это как раз согласуется с принципом золотой середины...

...Итак, дверь в кабинет мужа всегда закрыта. — Он снова сел за стол. — Если жене нужно о чем-нибудь поговорить с мужем, она прежде стучится в дверь и, только дождавшись разрешения, входит; это изумительное правило! Например, муж сидит в кабинете, а жена приходит поговорить с ним о литературе, она все равно не войдет не постучавшись. В такой семье можно быть спокойным, — там никто не принесет капусту и не станет складывать ее у тебя в комнате.

— Come in, please, my dear [1].

---

[1] Пожалуйста, войди, дорогая *(англ.)*.

Ну, а если у мужа нет времени рассуждать о литературе, тогда как? Он не отвечает на стук? Пусть себе жена стоит и колотит кулаком в дверь? Нет, этого не может быть... А не написано ли об этом в «Идеальном муже»? Прекрасная книга! Когда получу гонорар, непременно куплю и прочту».

Бац!

Он выпрямился, точно проглотил палку, — по опыту он знал, что это жена шлепнула трехлетнюю дочку. «Счастливая семья»!.. Он услышал плач ребенка и подумал:

«Дети у них будут позже... Может быть, было бы гораздо лучше, если бы их совсем не было. У бездетных всегда так чисто в квартире... А еще лучше им жить в гостинице и ни о чем не заботиться. У одиноких так чисто...»

Крик стал громче. Он встал и подошел к двери.

«Маркс, — продолжал он размышлять, — под детский плач мог написать «Капитал», но он был великий человек...»

Выйдя из комнаты, он открыл наружную дверь. Сразу запахло керосином. Девочка лежала справа от двери, уткнувшись лицом в землю, и при появлении отца заплакала еще громче.

— Ладно, ладно, не плачь, моя деточка, — он нагнулся и поднял ребенка на руки. Оглянувшись, он увидел слева от двери жену. Она стояла, подняв голову, сердито упершись руками в бока, словно приготовилась делать гимнастику.

— И ты еще издеваешься надо мной? Помочь не можешь, а мешать умеешь? Она опрокинула лампу с керосином... Что теперь будем зажигать вечером?

— Ну ладно, ладно, не плачь, — утешал он ребенка, не обращая внимания на слова жены, и с девочкой на руках вошел в дом. — Милая моя, — он погладил ее по головке; потом спустил на пол и, сев на стул, поставил ее между колен. — Не плачь, дорогая моя девочка. Смотри, папа покажет тебе, как кошка умывается. — Он вытянул шею, высунул язык, лизнул свои ладони и потер ими лицо, описывая круги.

— Ха-ха-ха, как наша кошка Хуа-эр! — рассмеялась девочка.

— Да, да, как Хуа-эр.

Он еще раз провел ладонями по лицу и опустил руки. Взглянув на дочь, он увидел, что она смеется, но слезы все еще дрожат в ее глазах, и вдруг заметил, что у нее прелестное личико, очень похожее на лицо ее матери, каким оно было пять лет назад. В особенности похожи губы, только у девочки они тоньше, чем у матери. Когда-то, в такой же ясный зимний день, она слушала, как он говорил ей, что одолеет все препятствия и всем пожертвует ради нее. И она так же улыбалась, глядя на него сквозь слезы. Он сидел растерянный, как будто опьяненный воспоминаниями.

«О, любимые губы!..» — думал он.

Вдруг поднялась дверная занавеска, и в комнату внесли дрова.

Он вздрогнул и увидел, что девочка продолжает смотреть на него заплаканными глазами, чуть-чуть приоткрыв свои алые губки. «Губы...» — он посмотрел в сторону: в комнату все еще таскали дрова.

«Боюсь, — подумал он, — что сейчас опять начнется пятью пять двадцать пять, девятью девять — восемьдесят один!.. И какие у нее теперь унылые глаза!..» Вдруг он резко схватил со стола листок бумаги в зеленую клетку, на котором были написаны слова «Счастливая семья», а ниже счет за дрова, смял его и вытер глаза и нос ребенку.

— Иди, моя милая, иди поиграй одна, — сказал он, слегка подтолкнув ее, и швырнул скомканную бумагу в корзинку.

Его охватила жалость к дочери. Он видел, как девочка одиноко побрела к двери. В ушах у него стоял грохот падающих дров. Он пытался успокоиться, отвернулся и закрыл глаза. Путаные мысли исчезли, стало тихо и спокойно. Перед глазами возник круглый темный цветок с апельсинно-желтой сердцевиной. Он проплыл от левого глаза к правому и растаял. За ним проплыли зеленые цветы с темной сердцевиной, а потом шесть вилков белой капусты вдруг выросли перед ним в огромную букву «А».

Март 1924 г.





МЫЛО

Жена Сы-мина со своей восьмилетней дочкой Сю-эр клеила игрушки из позолоченной бумаги. Она стояла спиной к окну, освещенная косыми лучами заходящего солнца. За дверью послышались медленные, грузные шаги. Она знала, что это вошел Сы-мин в своих мягких туфлях, и, не оборачиваясь, продолжала клеить. Шаги приблизились, Сы-мин остановился около нее. Она невольно обернулась. Муж стоял перед ней, подняв плечи, и что-то доставал из кармана куртки. Наконец он протянул жене маленький прямоугольный сверток, цвета незрелого подсолнуха. Она взяла сверток и почувствовала неопределенный запах, похожий на оливковый. На зеленоватой обложке она заметила золотистую печать и множество тонких узоров. Подбежала Сю-эр и хотела было выхватить сверток, но мать оттолкнула ее.

— Ты был на проспекте? — спросила она, разглядывая покупку.

— Да, — ответил он, тоже не спуская глаз со свертка.

Под верхней оберткой оказался еще один слой очень тонкой бумаги, тоже зеленоватой, в которую был завернут блестящий и твердый предмет бледнозеленого цвета, разрисованный узорами. Тонкую бумагу сняли, и она оказалась белой. Странный запах, очень похожий на оливковый, стал еще сильней.

— Ишь ты! Какое хорошее мыло, — сказала жена Сымина, обеими руками, словно ребенка, поднося зеленоватый кусок к лицу и нюхая его.

— Да! Вот и будешь им мыться...

Она почувствовала на себе его пристальный взгляд, и щеки ее запылали. Когда ей случалось дотронуться до своей шеи, она прощупывала грубую корку, особенно за ушами. Она знала, что это была годами накопившаяся грязь, но никогда не придавала этому никакого значения. А сейчас, под испытующим взглядом мужа, держа в руке зеленоватое заморское мыло с таким странным запахом, она невольно покраснела и решила сразу же после ужина вымыться этим мылом.

«Мыльным корнем ведь никак не отмоешься», — подумала она.

— Мама! А это дай мне! — протянула руку Сю-эр, стараясь схватить зеленоватую обертку. Со двора прибежала и маленькая Чжао-эр. Мать оттолкнула их, завернула мыло сперва в тонкую бумажку, потом в зеленоватую обертку и положила его на верхнюю полочку умывальника. Еще раз взглянув на мыло, она снова принялась клеить игрушки.

— Сюэ-чэн! — протяжно позвал Сы-мин, как будто вспомнив что-то, и уселся около жены на стуле с высокой спинкой.

— Сюэ-чэн! — повторила она, словно желая помочь мужу.

Она перестала клеить и прислушалась. Никакого отклика не последовало. Видя, что муж поднял голову и нетерпеливо ждет, она забеспокоилась и крикнула громко и визгливо:

— Сюэ-чэн!

На этот раз послышался торопливый топот ног в кожаной обуви, и через мгновение перед матерью появился Сюэ-чэн в одних трусиках. Его полное, круглое лицо лоснилось от пота.

— Ты где это пропадаешь? Не слышишь, что тебя отец зовет? — сказала мать с укором.

— А я занимался гимнастикой — восемь приемов борьбы... — он поспешно повернулся к отцу и вытянулся перед ним в струнку, вопросительно глядя ему в лицо.

— Сюэ-чэн, я хотел спросить тебя, что значит «одэфу?»

— «О-дэ-фу»?.. Это, наверное, «очень злая женщина»?

— Глупости! Ничего подобного! — вдруг вскипел Сы-мин. — Разве я женщина?

Сюэ-чэн испугался, даже попятился и еще больше вытянулся. Правда, иногда ему казалось, что отец похож на старого актера, но ни разу не приходило в голову, что его можно принять за женщину. Мальчик понял, что ошибся.

— Так ты говоришь, «одэфу» — очень злая женщина? Не понимаю. Ведь это не китайское слово, а заморское... слышишь? Что же это слово означает, а? Тебе оно понятно?

— Я... я не знаю! — Сюэ-чэн совсем растерялся.

— Зря я за тебя плачу деньги и посылаю в школу! Такого пустяка не можешь понять! А в вашей школе еще хвастаются каким-то разговорно-слуховым методом обучения. Ничего не выходит! Ничему вас научить не могут... Мальчишке, который произнес это слово на чортовом языке, было лет пятнадцать, меньше, чем тебе, а он трещал на этом языке во-всю! А ты даже смысла этого слова не понимаешь! Как тебе не стыдно говорить «не знаю»! Ступай и сейчас же найди мне это слово в словаре!

Сюэ-чэн пробормотал: «Хорошо», — и почтительно вышел.

— Вот безобразие! — с раздражением сказал Сымин. — Это я о теперешних учащихся. Помню, при старом режиме я чуть ли не первый ратовал за то, чтобы открыли народные школы. Мне и в голову не приходило, до чего дойдут нынешние школы: выдумали какие-то «освобождения», «свободы», а настоящих знаний — никаких! Одна болтовня! Вот, к примеру, наш Сюэ-чэн. Сколько на него уже потрачено денег — и все зря. Ведь нелегко было определить его в смешанную англо-китайскую школу. «Английский язык по новому разговорно-слуховому методу»! Ну, думаю, будет толк. Так ведь не тут-то было. Целый год учится, а что такое «одэфу» — не знает! Наверно, опять обучают всякой мертвечине по старым книгам. Ну и школа! Куда это годится?! Закрыть бы их все!

— И правда, не худо бы закрыть... — поддакнула жена, продолжая клеить.

— Сю-эр и младшая дочка учиться не будут! Помню, бывало, мой дядя всегда говорил: «К чему девочкам учиться?» А я еще нападал на него за то, что он был противником женского образования. Теперь выходит, что старики правду говорили. Плохо уже одно то, что девицы стаями разгуливают по улицам. Но этого мало! Завели

моду ходить стрижеными... Терпеть не могу этих стриженых студенток. Прямо скажу, скорей можно найти оправдание для нашей военщины и бандитов, чем для этих студентов. От них-то в Китае все и пошло вверх дном. Вот кого надо бы как следует проучить...

— Да, правда! Мало того, что все мужчины стали ходить стриженые, как монахи, еще и женщины начали подражать монахиням! [1]

— Сюэ-чэн!

Мальчик вбежал в комнату с открытой книжечкой в руках. Он подал ее отцу.

— Вот здесь что-то похожее...

Сы-мин знал, что это словарь. Но шрифт был очень мелок, к тому же строчки были напечатаны не вертикально, а горизонтально. Он наморщил лоб, подошел к окну и стал напряженно вглядываться в то место, которое ему указал Сюэ-чэн. Там было напечатано:

«Название братства по оказанию общественной помощи, основанного в XVIII веке».

— Нет! Неверно. А как это звучит? — спросил он, показывая на иностранные буквы перед китайским текстом.

— Отэ фулосы.

— Нет! Не так! Это не то! — Сы-мин снова вспылил: — Я же тебе сказал, что это должно быть какое-то бранное слово, плохое слово... ну, которым можно обругать такого, как я. Понятно? Ступай и отыщи!

— Что это за загадка такая без начала и конца? Ты бы объяснил толком, в чем дело, чтобы он разобрался, где искать! — заступилась мать, видя растерянность сына. Она говорила примирительным, но недовольным тоном.

— Когда я покупал мыло в магазине «Гуан Жун Сян», — выпалил Сы-мин, обернувшись к жене, — там было еще трое студентов, которые тоже что-то покупали. Видно, я им показался смешным. Прежде чем взять это мыло, я перебрал пять или шесть кусков. Все они стоили по сорок фыней. Там были и дешевые, но уж очень плохие, без всякого запаха. Я решил, что лучше взять мыло средней цены, и выбрал вот этот кусок за двадцать четыре

---

[1] В Китае до революции 1911 года стриглись только монахи и монахини.

фыня. А ведь приказчики в магазинах всегда важничают, закатывают глаза и готовы лаяться, как собаки. Тут, как на грех, эти негодные мальчишки стали подталкивать друг друга, перемигиваться и болтать что-то насмешливое на чортовом языке. Я хотел посмотреть, какое это мыло, прежде чем платить деньги. Ведь обертка-то заморская! Как же узнать, хорош товар или нет? Но этот хам, чорт его возьми, уперся, стал грубить, наговорил кучу всякого вздора. А дрянные мальчишки все подсмеивались, и вот самый младший, глядя мне нагло в глаза, сказал это слово. Тут все они загоготали... Да, это слово, должно быть, очень скверное... — Обернувшись к Сюэ-чэну, он добавил: — Ищи это слово в разделе скверных слов. Только там оно и может быть.

Сюэ-чэн опять пробормотал: «Хорошо» — и почтительно вышел.

— А они еще кричат о какой-то новой цивилизации, о новой культуре! Вот и дошли до всяких «измов»! Им еще и этого мало! — продолжал возмущаться Сы-мин. — Если так будет продолжаться, Китай и впрямь погибнет. Представь, как грустно было видеть...

— Что? — равнодушно спросила жена.

— Я видел девушку, воспитанную в духе уважения и почитания родителей, — торжественно проговорил Сы-мин. — На улице были две нищенки: девушка лет девятнадцати — по правде говоря, не подобает просить милостыню в таком возрасте, но она все-таки просила, — и с ней старушка лет семидесяти, седая и слепая. Они сидели под навесом у магазина тканей. Говорили, что это бабушка с внучкой. Все, что подавали девушке, она передавала старушке, себе не брала ничего. И как ты думаешь, много ли было подающих? — он вопросительно взглянул на жену.

Она молчала и в недоумении смотрела на него.

— Увы! — продолжал он, не дождавшись ответа. — Я долго простоял, пока, наконец, увидел, что кто-то подал ей фынь. Прохожие столпились вокруг них и забавлялись. Какие-то два лоботряса затеяли циничный разговор. Один сказал другому: «А-фа! Ты не смотри, что она такая грязнуля. Купить бы куска два мыла, да всю бы ее потереть как следует, вот было бы здорово!» Ты только подумай, сказать такую вещь!

— Гм! — жена опустила голову. Помолчав, она мягко спросила: — А ты-то ей подал что-нибудь?

— Я? Конечно, нет! Подать ей грош было бы просто неудобно. Ведь она не из простых. Надо бы...

— А! — жена, не дослушав, медленно поднялась и пошла на кухню. Сумерки сгущались, пора было ужинать.

Сы-мин тоже встал и вышел во двор. Там было светлее, чем в комнате. Сюэ-чэн продолжал свои гимнастические упражнения в глубине двора. Он всегда готовил свои «домашние задания» по гимнастике в сумерках. Днем он готовил уроки по другим предметам. Сы-мин одобрительно кивнул и, заложив руки за спину, стал расхаживать по двору взад и вперед. Вскоре в темноте растворились очертания единственного во всем дворе вечнозеленого растения, росшего в горшке. В просветах между облаками, как сквозь прорехи, сверкали звезды; опустилась ночь. Вдруг Сы-мина опять охватило возбуждение, как перед свершением великого подвига. Он готов был объявить войну всем учащимся и всему порочному обществу. По мере того как в нем разгорались страсти, шаги его становились тверже и решительней. Потревоженные куры и цыплята всполошились в курятнике.

В столовой зажгли свет, это было сигналом к ужину. Вся семья собралась вокруг обеденного стола, стоявшего посредине комнаты. Лампа находилась около Сы-мина. Он сидел на почетном месте, и лицо у него было такое же, как у Сюэ-чэна, — широкое и круглое, только у отца были усы, тонкие и косые. Обдаваемый горячими клубами пара, поднимавшегося от чашки с супом, он напоминал изображение бога богатства в кумирне. Слева от него сидела жена с Чжао-эр на руках, а справа — Сюэ-чэн и Сю-эр. Ужин проходил в молчании, только палочки стучали, словно частые капли дождя.

Чжао-эр опрокинула чашку с супом и залила почти весь стол. Сы-мин уставился на нее своими маленькими глазками, и девочка готова была расплакаться. Отец отвел глаза и приготовился подхватить палочками кочерыжку, которую облюбовал еще раньше, но в чашке ее не оказалось. Сы-мин покосился направо и увидел, что Сюэ-чэн уже запихал всю кочерыжку в рот. Сы-мину пришлось удовольствоваться пожелтевшими листьями капусты.

— Ну как, Сюэ-чэн, — спросил он, глядя на сына, — нашел ты это слово или нет?

— Какое слово? Ах, то... Нет еще.

— Эх ты! И невежа и невежда! Только и знаешь, что жрать. Поучился бы хоть у той воспитанной девушки. Она стала нищей, просит милостыню и все отдает своей бабушке, из почтения и уважения к ней. А ведь сама голодная. Где вам, теперешним школьникам, понять это? Все стали нахалами. Вот и ты растешь таким же шалопаем, как те...

— Я придумал похожее слово, да только не знаю, верно ли... Может быть, они сказали «Отэ фуло» [1]?

— Вот, вот! Совершенно верно! Именно это слово «О-тэ-фу-ли»! Что это значит? Ты ведь тоже из их шайки, ты должен знать!

— Я не совсем понимаю, что это значит.

— Врешь! Обмануть меня хочешь! Все вы одной породы...

— Небо и то не карает во время еды! Что это ты сегодня расходился? — вдруг вмешалась жена. — Даже спокойно поесть не даешь! Чего ради ты придираешься к ребенку?

— В чем дело? — Сы-мин готов был вспылить, но, увидев, что жена изменилась в лице и ее треугольные глазки зловеще блеснули, переменил тон. — Я вовсе не придираюсь, а хочу только, чтобы Сюэ-чэн стал толковым мальчиком.

— Откуда ему знать, что у тебя на уме? — раздраженно продолжала жена. — Если бы он был толковым, он давно бы зажег все светильники и пошел искать тебе эту воспитанную девицу. Кстати, ты уже купил для нее один кусок мыла, осталось купить еще один.

— Что за чушь? Ведь это те шалопаи говорили...

— Непохоже. Остается только купить еще один кусок мыла, всю ее потереть да помыть и поднести тебе... Вот тогда все сразу уладится и настанет рай на земле!

— Что ты городишь! Какое это имеет ко мне отношение? Я вспомнил, что у тебя нет мыла, и...

---

[1] Old fool — старый дурак *(англ.)*.

— Как это к тебе не имеет отношения? Ведь ты же купил это мыло для нее. Иди, три и мой ее. Я не стою этого мыла. Я не нужна тебе, да и не буду мешать.

— Что за чепуху ты мелешь? Все вы, женщины...

Сы-мин запнулся. Лицо покрылось потом, как у Сюэ-чэна, когда он занимался гимнастикой. Может быть, суп был слишком горячий...

— Что мы, женщины? Мы, женщины, гораздо лучше вас, мужчин! Вы, мужчины, студенток ругаете, а молоденькими нищенками восторгаетесь! Среди вас нет ни одного порядочного! «Потереть»! Да как не стыдно!

— Но ведь я же тебе говорю, что это те шалопаи...

Вдруг за дверью, из темноты, послышался зычный оклик:

— Сы-мин!

— Это вы, Дао-тун? Я сейчас! — Сы-мин по голосу узнал Хэ Дао-туна и обрадовался, как преступник, неожиданно получивший амнистию.

— Сюэ-чэн! Живей посвети дяде Хэ и проводи его в кабинет!

Сюэ-чэн зажег свечу и провел Хэ Дао-туна в западную часть дома, в кабинет отца. За ними следовал Бу Вэй-юань.

— Очень рад! Очень рад! Извините! — приветствовал гостей Сы-мин, торопливо прожевывая кусок и почтительно раскланиваясь. — Не желаете ли отведать моей домашней стряпни?

— Спасибо, мы уже поужинали! — Бу Вэй-юань выступил вперед и тоже вежливо раскланялся, потрясая сложенными руками. — Мы пришли к вам в столь поздний час только потому, что надо срочно представить темы для восемнадцатого конкурса нашего литературного общества «Переменный ветер». Ведь завтра уже фын-ци [1].

— Вот тебе и на! Значит, сегодня шестнадцатое? — испуганно спросил Сы-мин.

— Смотрите-ка, до чего его замотали! — прогремел Хэ Дао-тун.

— Так вот, надо сегодня же ночью доставить тексты в редакцию, чтобы их завтра напечатали в газете.

---

[1] **Фын-ци** — седьмой день декады.

— Один текст я уже придумал. Вот погляди, подойдет или нет? — Хэ Дао-тун подал Сы-мину завернутый в носовой платок лист бумаги.

Сы-мин придвинулся к свечке, развернул лист и стал медленно читать:

— «Конкурс на текст почтительного обращения ко всему нашему народу о совместной мольбе к Великому Президенту Китайской Республики издать в особом порядке декрет об исключительном почитании канонов китайских древних мудрецов и о воздаянии почестей матери древнего философа Мэн-цзы, ради поддержания пошатнувшихся моральных устоев и для сохранения на вечные времена чистоты национального духа Китая». Замечательно! Превосходно! Только, пожалуй, длинно!

— Ничего! — закричал Хэ Дао-тун. — Я уже подсчитал: будет стоить не дороже рекламного объявления. Ну, а как с темами для поэзии?

— Поэзии? — Сы-мин торжественно выпрямился. — У меня есть готовый сюжет! Взят из жизни! Девушка, воспитанная в духе уважения к старшим и почитания родителей! Нужно это обязательно отметить и воспеть! Сегодня я был на проспекте...

— Ой нет! Это не подойдет! — прервал Бу Вэй-юань, замахав руками. — Я ее знаю. Она, вероятно, приезжая. Я не мог понять ее, да и она меня не очень понимала. Я так и не узнал, откуда она. Говорят, что эта девушка благовоспитанная, но когда я спросил ее, умеет ли она слагать стихи, она отрицательно покачала головой. Вот если бы она слагала стихи, тогда другое дело.

— Да, но ведь самоотверженность во имя родителей и старших, так же как и супружеская верность, — великая добродетель женщины. Можно поступиться тем, что она не умеет слагать стихи...

— Вот уж никогда! — Бу Вэй-юань подскочил к Сымину и даже толкнул его. — Надо, чтобы сочиняла стихи! Вот тогда будет интересно!

Отстранив от себя Бу Вэй-юаня, Сы-мин настаивал:

— Возьмем только сюжет и дадим к нему комментарий, чтобы можно было поместить в газете. Этим мы, во-первых, превознесем ее, а во-вторых, затронем общественные круги. Ведь до чего дошло нынешнее общество! Я долго наблюдал со стороны за этой девушкой, и, пред-

ставьте, хоть бы один подал ей милостыню. Это ли не полное равнодушие и бесчувствие!..

— Ну, что ты, Сы-мин! — опять подскочил к нему Бу Вэй-юань, — это ты на мой счет прохаживаешься! Вспомни поговорку: «Перед лысым монахом ругать разбойника за то, что он лысый!..» Я не подал милостыни просто потому, что у меня как раз не было при себе ни одного фыня.

— Вэй-юань, не будь столь мнительным! — отмахнулся Сы-мин. — Я вовсе не тебя имел в виду и совсем не к тому веду разговор. Позволь мне договорить. Этих нищенок на проспекте окружила огромная толпа зевак, которые зубоскалили без всякого стеснения. А два каких-то шалопая совсем уже вышли из пределов приличия. Один из них сказал: «А-фа! Купил бы ты два куска мыла, потер бы ее да помыл как следует, глядишь, она и пришлась бы тебе по вкусу!» Ну, посудите сами, ведь это же...

— Ха-ха-ха! Два куска мыла! — и Хэ Дао-тун разразился громовым хохотом, от которого зазвенело в ушах. — Купить мыла, ха-ха-ха!

— Дао-тун! Дао-тун! Да не кричи же так! — испуганно забормотал Сы-мин.

— Потереть... ха-ха-ха!

— Дао-тун! — у Сы-мина вытянулось лицо. — Мы же говорим о серьезных вещах! А ты шутишь и сбиваешь нас с толку. Послушай! Мы сейчам же пошлем в редакцию эти два сюжета, и завтра их напечатают в газете, непременно! Я очень просил бы вас обоих взять это на себя...

— Можно, можно, разумеется, можно! — затараторил Бу Вэй-юань.

— Хэ-хэ-хэ! Помыть... Потереть... Хи-хи-хи!

— Дао-тун! — гневно заорал Сы-мин.

Не ожидавший окрика, Хэ Дао-тун осекся и перестал смеяться. Затем они обдумали, как составить комментарий. Бу Вэй-юань набросал план в записной книжке, после чего оба гостя побежали в редакцию газеты. Сы-мин проводил их с фонарем до самых ворот. Возвращаясь в дом, он почувствовал некоторую неловкость, но после минутного колебания вошел в столовую. Ему сразу же бросился в глаза кусок мыла, который лежал в своей обертке посреди обеденного стола. Золотая печать с цветистыми узорами поблескивала при свете лампы.

Сю-эр и Чжао-эр ползали под столом, увлеченные игрой. Сюэ-чэн, сидя у стола, рылся в словаре. Сы-мин увидел, что жена сидит в темном углу комнаты, на стуле с высокой спинкой. Лампа издали освещала ее безжизненное лицо с застывшими, равнодушными глазами.

— Потереть... Как не стыдно! — услышал Сы-мин за спиной голос Сю-эр. Он обернулся, но никого не увидел. Только Чжао-эр изо всех сил скребла маленькими пальчиками свои грязные щеки.

Сы-мин не мог дольше выносить это. Он потушил свою свечу и вышел во двор. Он так энергично стал шагать взад и вперед, что куры снова всполошились и закудахтали. Сы-мин сбавил шаг и постарался держаться подальше от курятника. Прошло много времени, прежде чем он увидел, что лампу перенесли в спальню. Лунный свет, словно пологом, окутал все вокруг. Вот нефритовый диск луны спрятался за легким облачком, вырисовываясь сквозь него сияющим кругом.

Сы-мин был расстроен и огорчен. Ему казалось, что он так же заброшен и бесприютен, как та благовоспитанная девушка на проспекте. В эту ночь он лег спать очень поздно.

Однако на другой день утром мыло было использовано. Сы-мин проснулся позднее обычного и увидел, что жена склонилась над умывальником и крепко трет себе шею; за ушами вздымалась высокая густая пена, такой пены никогда не бывало от мыльного корня.

С этой поры от жены Сы-мина постоянно исходил тонкий и неопределенный запах, похожий на оливковый. Полгода спустя запах сменился другим, который, по мнению многих, походил на аромат сандалового дерева.

Март 1924 г.





РАЗВОД

— А-а, дядюшка Му! С новым годом! Желаю разбогатеть! Желаю разбогатеть!

— Здравствуй, Ба-сань! Поздравляю!..

— Ай-я! С новым годом, с новым счастьем! И Ай-гу тоже здесь...

— А-а, дядюшка Му!..

Чжуан Му-сань с дочерью Ай-гу вошел в большую пассажирскую джонку на пристани Мулянь. Лодка была переполнена. Пассажиры встретили их громкими восклицаниями. Некоторые, сложив руки, приветствовали прибывших поклонами. В это время на боковой скамье освободилось несколько мест.

Чжуан Му-сань в ответ на приветствия тоже потряс в воздухе сложенными руками и опустился на освободившееся место, прислонив к борту лодки свою трубку с длинным мундштуком. Ай-гу села напротив Ба-саня и вытянула свои серповидные ступни, похожие на иероглиф восьмерку.

— В город направляетесь, дядюшка Му? — спросил один из пассажиров, у которого лицо напоминало панцырь краба.

— Нет, не в город!

Дядюшка Му был расстроен, но по выражению его испещренного морщинами лица, цвета коричневого тростникового сахара, ничего нельзя было заметить.

— На этот раз мы едем в Панчжуан, — добавил он.

Все сидевшие в лодке постепенно притихли и стали прислушиваться к разговору.

— Опять по делу Ай-гу? — спросил, помолчав, Ба-сань.

— Да, все из-за нее... Надоело мне это до смерти. Почти три года тянутся споры. Сколько раз дрались, сколько раз мирились! А конца все не видно.

— Теперь к господину Вэю направляетесь?..

— Да, к нему. Он уж не раз хотел помирить их, да я не соглашался. Это не так важно. Сейчас на новый год у него собирается вся родня. Даже господин Ци из города и тот будет...

— Господин Ци? — от удивления у Ба-саня расширились глаза.

— Этот почтенный человек согласился принять участие в нашем деле. Уж если говорить правду, то мы, пожалуй, выместили на них свою злобу еще в прошлом году, когда разрушили их очаг [1]. Да и какой интерес Ай-гу возвращаться к ним... — старик опустил глаза.

— Меня туда вовсе и не тянет, брат Ба-сань, — подняв голову, раздраженно сказала Ай-гу. — Я просто хочу сделать им назло. Ты сам подумай, эта «молодая скотина» связался с молоденькой вдовушкой — решил от меня отделаться! Он думает, это так легко! А «старая скотина» только и знает, что потакает сыну и тоже не хочет держать меня в своей семье. Очень все это у них просто! А кто такой господин Ци? Если он побратался с начальником уезда, так уж по-человечески говорить разучился, что ли? Господин Ци не может быть таким бестолковым, как господин Вэй, который твердит одно: «Лучше разойтись, лучше разойтись». Вот я расскажу господину Ци, что мне пришлось пережить за эти годы! Посмотрим, что он скажет, — кто прав, кто виноват?

Окончательно убежденный этими словами, Ба-сань не открывал больше рта.

Голоса умолкли, только плеск воды, ударявшей о нос джонки, нарушал тишину. Чжуан Му-сань взял свою трубку и набил ее табаком. Толстяк, сидевший напротив,

---

[1] Разрушение очага в доме врага, по поверью, навлекает несчастье на его семью.

рядом с Ба-санем, вынул из внутреннего кармана кремень, высек огонь и услужливо поднес его к трубке старика.

— Весьма обязан, весьма обязан, — часто кивая головой, благодарил Му-сань, раскуривая трубку.

— Мы с вами впервые встречаемся, дядюшка Му-сань, но я о вас слышал уже давно, — почтительно произнес толстяк. — Да и в какой деревне на всем нашем побережье не знают вас? Всем нам давно известно, что женатый сын из семьи Ши спутался с вдовушкой. И когда вы, дядюшка Му, с шестью своими сыновьями в прошлом году сравняли с землей их домашний очаг, все одобряли ваш поступок... У вас почтенная семья. Вы сами, уважаемый, широко шагаете, вхожи в высокие ворота, до больших людей дойдете и бояться вам, конечно, нечего!..

— Вот вы, дядюшка, сочувствуете мне, — обрадованно вступила в разговор Ай-гу. — Хотя я и не знаю, почтеннейший, вашего имени...

— Меня зовут Ван Дэ-гуй, — поспешно ответил толстяк.

— Я ни за что не допущу, чтобы он так просто бросил меня. Пусть они приглашают господина Ци или господина Ба [1], кого хотят. Я все равно подыму скандал и не успокоюсь до тех пор, пока окончательно не погублю их! Господин Вэй уже четыре раза уговаривал меня уйти от них! Даже у моего отца голова закружилась, когда они предложили нам отступные...

— Замолчи ты... — тихо и грубо выругался Му-сань.

— А я слышал, что семья Ши к новому году послала господину Вэю изрядное количество вина, — сказал человек с лицом, похожим на панцырь краба.

— Это не испортит дела, — сказал Ван Дэ-гуй. — Разве выпивкой можно смутить человека? Что же тогда будет, если ему поднесут еще лучшее угощение? Они люди грамотные — им только и рассуждать о справедливости, когда дело касается других. Все равно, подносят им выпивку или нет, они всегда защищают обиженного. В конце прошлого года к нам в деревню вернулся из Пекина почтенный Жун. Он многого насмотрелся, не то что мы, дере-

---

[1] Здесь игра слов: Ци — означает седьмой, Ба — восьмой (большой человек).

венские. Так вот, по его словам, самым первым человеком там считается госпожа Гуан, непреклонная и...

— Кому до пристани Ванцзя — сходите! — крикнул лодочник. Джонка медленно приставала к берегу.

— Я, я! — отозвался толстяк. Он торопливо схватил свою трубку, прыгнул на берег и пошел вперед по ходу лодки.

— Желаю удачи, желаю удачи! — кричал он с берега, кивая головой.

В джонке снова воцарилось молчание. Плеск воды, ударявшей о борт, стал еще слышнее. Ба-сань начал клевать носом и, наконец, задремал. Его рот открывался все шире и шире, как будто он хотел проглотить находившиеся против него кривые ножки Ай-гу. На носу лодки две старушки вполголоса бормотали молитвы и перебирали четки. Они то посматривали на Ай-гу, то переглядывались между собой, поджимая губы и покачивая головами.

Ай-гу уставилась широко открытыми глазами на натянутый брезентовый тент и думала, вероятно, о том, какой скандал она устроит. Она разорит и погубит их да еще оставит в дураках «молодую скотину» и «старую скотину»! Господина Вэя Ай-гу не принимала в расчет; видела она его всего два раза. Ничего особенного он собой не представляет — неуклюжий коротышка с круглой головой и круглым лицом. Таких людей у них в деревне много, только лицо у него, пожалуй, не такое черное и загорелое, вот и все.

Чжуан Му-сань давно уже докурил свою трубку; огонь угасал, но он все еще продолжал посасывать чубук, из которого раздавался только хрип. Он знал, что после пристани Ванцзя сразу будет остановка в Панчжуане. Уже отсюда смутно виднелась кумирня бога Куй-син [1], стоящая у самого въезда в деревню. В Панчжуане он бывал много раз и всегда останавливался в доме господина Вэя. Сейчас об этих посещениях и о самом господине Вэе ему не хотелось даже думать. Он вспомнил, как его дочь со слезами вернулась домой, как он возненавидел свата и зятя и как отомстил им. Картины прошлых ссор и скандалов вновь предстали перед его глазами. Воспоминание о

---

[1] Куй-син — звездный бог, покровитель литературы.

том, как они наказали свата, до сих пор вызывало у него улыбку удовлетворения. Но на этот раз все складывается по-другому. Сейчас мысли его были заняты господином Ци, и он никак не мог от них отделаться.

Джонка подвигалась вперед в ничем не нарушаемой тишине. Только отчетливее стало слышно однообразное бормотанье старух. Все остальные вместе с дядюшкой Му и Ай-гу погрузились в молчание.

— Подъезжаем к Панчжуану. Дядюшка Му, пора высаживаться!

Голос лодочника заставил всех вздрогнуть. Перед ними была кумирня бога Куй-син.

Дядюшка Му сошел на берег, за ним выпрыгнула Ай-гу. Они миновали кумирню, прошли еще домов тридцать, свернули в переулок и оказались у дома господина Вэя. Еще издали увидели они четыре лодки с черными парусами, стоявшие в один ряд на причале.

Они вошли в ворота, покрытые черным лаком; их пригласили в переднюю. У ворот во дворе стояли два больших стола, за которыми расположились лодочники и батраки хозяина. Ай-гу не решалась смотреть на них. Она окинула быстрым взглядом присутствующих и убедилась в том, что ни «старой скотины», ни «молодой скотины» среди них не было.

Слуги подали Му-саню и Ай-гу новогодний суп с рисовыми клецками. Беспокойство Ай-гу усиливалось, она не находила себе места, а почему — и сама не смогла бы объяснить.

«Неужели только потому, что господин Ци побратался с начальником уезда, он разучился говорить по-человечески? — думала она. — Ведь грамотные люди стоят за справедливость. Надо подробно рассказать ему, как меня пятнадцати лет выдали замуж».

Новогодний суп был съеден. Приближался решающий момент. Действительно, вскоре Ай-гу вместе с отцом в сопровождении слуги прошла через большую залу и подошла к порогу гостиной.

В гостиной было много красивых вещей. Ай-гу не успела даже их как следует рассмотреть. Много было и гостей. В глазах рябило от красных и зеленых шелковых курток. И среди всей этой толпы обращал на себя внимание один человек — это, несомненно, был господин Ци.

У него тоже были круглая голова и круглое лицо, но все же он казался гораздо более внушительным, чем, например, господин Вэй.

На его крупном, круглом лице сидели узенькие глазки и выделялись черные блестящие, точно лакированные, редкие усы. Макушка головы была совершенно лысая, гладкое лицо и гладкий череп лоснились до блеска, как будто их специально намазали каким-то маслом. Ай-гу никак не могла догадаться, почему они так блестят, но потом сообразила, что лицо и череп у этого человека, наверно, намазаны свиным салом.

— Это напоминает «затычку для покойников»... — говорил господин Ци, держа в руках нечто, похожее на кусок обожженного камня. — В древности покойнику обычно затыкали все отверстия, чтобы злые духи не проникли в тело, — продолжал он, почесывая камнем нос. — Жаль только, что такую вещицу можно всюду купить... она не древнее ханьской эпохи [1]. Вот посмотрите, она вся пропитана ртутью.

Головы мгновенно склонились, чтобы рассмотреть вещь, «пропитанную ртутью». Одна из голов, несомненно, принадлежала господину Вэю. Несколько молодых людей, которых Ай-гу вначале не заметила, привлеченные диковинным предметом, как высохшие клопы, облепили господина Ци.

Ай-гу не поняла смысла последних слов господина Ци, а подойти и посмотреть, что это за вещь, «пропитанная ртутью», она не решалась. Украдкой оглядевшись по сторонам, Ай-гу увидела позади себя «старую скотину» и «молодую скотину», прислонившихся к стене у двери. И хотя Ай-гу смотрела на них всего один миг, она успела заметить, что за последние полгода они сильно постарели.

Круг людей, рассматривавших диковинный предмет, «пропитанный ртутью», распался. Господин Вэй взял эту вещицу в руки и, поглаживая ее пальцами, спросил, повернувшись к Чжуан Му-саню:

— Значит, вы приехали только вдвоем?

— Да!

— А где же твои сыновья?

— Они заняты.

---

[1] **Ханьская эпоха** — 206 г. до н. э. — 220 г. н. э.

— По совести говоря, — сказал господин Вэй, — в день новогоднего праздника не следовало бы вас утруждать. Да слишком уж затянулось это старое дело... Я думаю, достаточно пошумели. Ведь это тянется больше двух лет. Мне кажется, пора положить конец старой вражде, а не стараться еще больше ее запутывать. Раз муж виноват перед Ай-гу, а свекровь ее не любит... то лучше всего сделать так, как я говорил прежде: надо развестись. Моего совета вы не послушались. Я не сумел вас уговорить. Но вот господин Ци — человек справедливый, вам это известно, — он думает так же, как я. Господин Ци считает, что обе стороны должны признать, что им не повезло. Пусть семья Ши добавит десять юаней. Значит, всего будет девяносто юаней! Девяносто юаней! — продолжал господин Вэй. — Даже если вы будете судиться и дойдете до самого императора, то и тогда не добьетесь более выгодного решения. Такое мог предложить только наш господин Ци.

Господин Ци приоткрыл щелочки своих маленьких глазок, посмотрел на Чжуан Му-саня и утвердительно кивнул головой.

Ай-гу почувствовала, что дело принимает опасный оборот. Больше всего ее удивляло поведение отца. Ведь его побаивались почти все жители побережья, почему же здесь он молчит? Он поступает неправильно. Ай-гу хотя и не совсем поняла, что думает господин Ци, но почему-то ей показалось, что он справедливый и симпатичный человек и уж, конечно, не такой страшный, как она о нем думала.

— Господин Ци — человек грамотный и хорошо во всем разбирается, — смело заговорила она. — Его нельзя равнять с нашими деревенскими. Меня обидели, а пожаловаться мне некому. Я очень прошу господина Ци заступиться за меня. Когда я вышла замуж, я вела себя тише воды, ниже травы, покорно выполняла все обряды, была почтительной и вежливой. Они же всегда относились ко мне враждебно и поступали со мной так, что это вывело бы из терпения даже самого Чжун-куя [1]. В том году, когда хорек загрыз петуха и шелудивая собака открыла

[1] Чжун-куй — божество, отличающееся безобразной наружностью; его изображение наклеивается на дверях дома, чтобы отпугивать злых духов.

мордой курятник и сожрала месиво для кур, — разве это случилось потому, что я плохо ухаживала за птицей?.. а «молодая скотина», не разобравшись, влепил мне тогда пощечину...

Господин Ци посмотрел на Ай-гу.

— Я-то знаю настоящую причину, — продолжала Ай-гу, расхрабрившись, — она не укроется и от зоркости господина Ци. Умные и грамотные люди во всем разбираются. Эта шлюха-вдовушка закрутила голову «молодой скотине»! Теперь он на все пойдет, чтобы выгнать меня из дому. Но не так-то это легко! Меня выдали замуж по всем шести брачным церемониям, меня принесли в дом мужа на свадебных носилках как законную жену. Разве все это ничего не значит?.. Я им еще покажу!.. Если нужно судиться — буду судиться, ничего! Не выйдет в уезде, можно обратиться в округ...

— Все это известно господину Ци, — сказал господин Вэй, подняв голову. — Если ты не одумаешься, ты ничего хорошего не добьешься. Чего ты так артачишься? Посмотри на своего отца — он человек разумный, а ты и твои братья на него совсем непохожи. Ну что же, будешь судиться — дойдешь до округа. А разве судья в округе не может спросить мнения господина Ци? Тогда официальное дело и будет решаться по-официальному. И опять... Эх, право, какая ты...

— Ну тогда я жива не буду, а разорю всю их семью и погублю весь их род!

— Это дело не стоит того, чтобы рисковать жизнью, — тихо, но отчетливо произнес господин Ци. — Ты еще молода, очень молода. Человек должен быть более покладистым. Ведь недаром народная пословица гласит «покладистые — богатеют». Правильно? Прибавляю еще десять юаней, это — уж «сверх небесной добродетели». А если ты не согласна и на это, то все равно — раз свекровь говорит: «Уходи!» — ты должна уйти. Тебе то же самое скажут не только в округе, но даже если ты обратишься в Шанхай, в Пекин или в заморскую страну, — везде получишь такой же ответ. Не веришь мне, спроси сама вот у него — он только что прибыл из Пекина, где учится в иностранном учебном заведении.

Господин Ци повернулся к молодому человеку с острым подбородком:

— Верно я говорю?

— Именно так! — изгибаясь всем туловищем, подобострастным шопотом ответил молодой человек с острым подбородком.

Ай-гу почувствовала себя очень одинокой. Отец молчит, братья не решились приехать, господин Вэй всегда держал сторону ее врагов. А теперь выходит, что и на господина Ци нельзя положиться. Даже этот молодой человек с острым подбородком, похожий на высохшего клопа, и тот говорит угодливым шопотом и бьет в гонг попутному ветру. В голове Ай-гу все перепуталось, но она все же решилась на последний отчаянный шаг.

— Как же это так, даже господин Ци... — глаза ее были полны тревоги, сомнения и разочарования. — Теперь все ясно. Мы люди простые, неграмотные. Мы ничего не знаем и ничего не понимаем. Обидно, что отец даже в житейских делах и то не может разобраться. Его старая голова уже совсем не работает. Вот и получается, что «старая скотина» и «молодая скотина» делают все, что хотят. Быстро, как весть о смерти, они успевают пролезать в любую собачью дыру и отбивают поклоны кому следует...

— Вот вы сами видите, господин Ци, — вдруг раздался голос «молодой скотины». — Она и при почтенных людях не стесняется, а уж в семье и подавно никому от нее нет покоя. Моего отца она зовет «старая скотина», меня же величает не иначе, как «молодая скотина» или ублюдок!

— Уж не твоя ли потаскуха зовет тебя ублюдком? — громко крикнула Ай-гу, обернувшись к нему. Потом она снова обратилась к господину Ци:

— Я хотела еще сказать здесь перед всеми... Он не смеет говорить о почтительном обращении и спокойном поведении! У него самого на языке всегда только одна ругань. Рта не откроет без брани. Он обзывал меня потаскушкой и поносил скверными словами, а когда связался с этой тварью, то даже стал чернить весь наш род. Господин Ци, вы сами рассудите нас...

Она вздрогнула и сразу умолкла: господин Ци вдруг закатил глаза, поднял лицо, и с его губ, обрамленных жидкими усами, сорвался резкий дребезжащий крик:

— Эй! Иди-ка сюда-а!

Сердце у Ай-гу так и замерло, а потом бешено заколотилось. Она поняла, что все пропало, и ничего теперь не

изменишь. Ей показалось, будто она оступилась и упала в воду, но сама в этом виновата.

В комнату вбежал человек в синем халате и в черной безрукавке. Он остановился перед господином Ци, опустив руки и вытянувшись, как жердь.

Наступила мертвая тишина, все замерли в ожидании. Господин Ци пошевелил губами, никто не расслышал, что он сказал, но подошедший к нему человек понял его. Полученное им распоряжение, казалось, пронзило его до мозга костей — он дважды дернулся всем телом, словно у него волосы и кости стали дыбом.

— Есть! — сказал он и, пятясь, вышел.

Ай-гу решила, что сейчас произойдет что-то страшное и неотвратимое. Только сейчас она поняла, что господин Ци очень суровый человек и что только по ошибке он показался ей справедливым. Эта ошибка и была причиной того, что она решилась заговорить свободно, без стеснений! Ай-гу очень пожалела об этом, и у нее невольно вырвалось:

— Ведь я же слушаюсь наставлений господина Ци...

Все притихли. И хотя Ай-гу произнесла эти слова чуть слышно, для господина Вэй они прозвучали, как удар грома. Он даже подпрыгнул от удовольствия.

— Правильно! — одобрительно крикнул он. — Поистине господин Ци справедливый человек, и теперь Ай-гу сама все хорошо поняла. — Повернувшись к Чжуан Му-саню, он продолжал: — Почтенный Му, ты, конечно, не будешь возражать. Она сама дала согласие. Я надеюсь, ты захватил с собой брачное свидетельство, я ведь говорил тебе... Сейчас мы покончим с этим делом...

Ай-гу увидела, как отец вынимает что-то из кошелька, висевшего на поясе. В комнату вернулся человек, похожий на жердь, и передал господину Ци какую-то гладкую черную и блестящую, точно лаком покрытую, вещицу, похожую на маленькую черепаху. Ай-гу, испугавшись, кинула быстрый взгляд на отца. В этот момент он уже пересчитывал на чайном столике серебряные юани.

Господин Ци ухватил маленькую черепаху за голову и что-то насыпал себе на ладонь. Потом он отдал вещицу человеку, похожему на жердь, и тот унес ее. А господин Ци подхватил двумя пальцами и втянул в ноздри то, что насыпал на ладонь. Нос и ямочка над верхней губой

сразу пожелтели, как обгоревшие; он сморщил нос, собираясь чихнуть.

Чжуан Му-сань был занят пересчитыванием серебряных юаней. Господин Вэй взял из не пересчитанной еще стопки несколько монет и возвратил их «старой скотине». После этого он, обменяв брачные свидетельства, передал их каждой из сторон со словами:

— Ну, теперь вы все получили на руки сполна. Почтенный Му, ты хорошо пересчитай свои деньги. Этим не следует шутить — дело денежное...

— А-пчхи! — раздалось в тот же момент. Ай-гу невольно перевела взгляд на господина Ци и увидела, что он сидит с открытым ртом и все еще морщит лоб. Двумя пальцами он вертел в руках затычку для покойников и почесывал ею нос.

Чжуан Му-сань неторопливо и внимательно пересчитал деньги. Теперь брак был расторгнут. Все почувствовали такое облегчение, как будто у них распрямились поясницы. Напряжение исчезло, и атмосфера в комнате сразу стала мирной.

— Ну вот и хорошо! Наконец с этим делом покончили, — облегченно вздохнув, воскликнул господин Вэй, видя, что обе стороны готовы распрощаться.

— Значит, — продолжал он, — обо всем договорились. Теперь разрешите поздравить вас и пожелать вам всяческого счастья и благополучия. Можно сказать, очень запутанное дело разрешили. Как, вы уже собираетесь уезжать?! Не спешите! Погостите еще немного. Выпейте с нами в честь нового года. Ведь так трудно бывает собраться.

— Нет, спасибо, мы не будем пить. Поберегите вино. В будущем году еще приедем и выпьем, — сказала Ай-гу.

— Благодарю вас, господин Вэй, мы не будем пить, — произнес Чжуан Му-сань, — у нас еще есть дела.

Чжуан Му-сань, «старая скотина» и «молодая скотина» направились к выходу, почтительно кланяясь друг другу.

— Ай-я! выпейте хоть немного! — восклицал господин Вэй, внимательно следя за Ай-гу, идущей позади всех.

— Да нет уж, — отвечала та, — мы не будем пить, спасибо, господин Вэй.

Ноябрь 1925 г.





(1924—1926)

ОСЕННЯЯ НОЧЬ

В моем саду у самой стены растут два дерева, две финиковые пальмы.

Это небо вверху надо мной — удивительное и высокое, я в жизни своей не видел такого удивительного и высокого неба. Кажется, оно покинет людей, уйдет от них, люди поднимут головы, но больше не увидят его. А сейчас оно невообразимо синее и мерцает переливчатым светом бесчисленных звездных глаз, холодных глаз. В углах его рта играет усмешка, оно думает о чем-то своем, о том, что никому неведомо; обильным инеем усыпало оно кусты в моем заглохшем саду.

Я не знаю, как по-настоящему называются эти кусты, как называют их люди. Я помню, что один из них цвел очень маленькими розовыми цветами, и сейчас он расцвел опять, и цветы на нем еще меньше, чем всегда, весь он сжался от ночного холода и видит сны. И снится ему, что приходит весна, и снится ему, что приходит осень, и снится ему, что изможденный поэт осторожной рукой утирает слезы, выступившие на лепестках последних цветов, и, утешая его, говорит: «Вот наступила осень, а за нею зима, но после них снова придет весна, и бабочки будут

порхать над цветами, и пчелы затянут весенние песни». И куст, покрасневший, сжавшийся от жгучего холода, отвечает поэту радостным смехом.

Финиковые пальмы. С них осыпались листья. Совсем недавно приходили дети и сбили с них последние плоды, случайно уцелевшие после сбора, и теперь стоят они оголенные, потерявшие даже листву. Они тоже знают о снах розовых цветов, о весне, что придет после осени, и они знают о печали опавших листьев, об осени, что неизбежно сменит весну. Они потеряли всю листву, и стоят оголенные, но прямые и стройные, не отягощенные плодами и листьями, пригибавшими их прежде к земле. Только несколько веток склонились и прикрывают раны, нанесенные нежной коре деревьев шестами для сбивания плодов, другие же, прямые и длинные, безмолвно и неподвижно, словно железные прутья, вонзились в небо, удивительное и высокое, и небо мигает колдовскими глазами; они вонзились в полную луну посреди этого неба, и луна побелела от боли.

Все невообразимее синева неба, освещенного колдовскими глазами. Оно неспокойно и, кажется, покинет людей, уйдет от финиковых пальм и оставит одну луну. Но и луна украдкой убегает на восток, и вот уже словно и нет пальмовых стволов, а на самом деле ветви их попрежнему безмолвно и неподвижно, словно железные прутья, пронзают небо, удивительное и высокое, и, равнодушные к беспокойному блеску его мерцающих глаз, готовят ему смертную участь.

Протяжный крик. Пронеслась зловещая ночная птица.

И вдруг я слышу смех в полуночной тьме, приглушенный, словно тот, кто смеется, боится разбудить спящего. И воздух наполняется отголосками этого смеха. Уже полночь, и вокруг меня нет никого, этот смех гонит меня в дом. Я прибавляю огня в лампе, и круг света становится больше.

Зазвенели стекла в моем окне, о них бьются ночные мотыльки. Несколько мотыльков влетели в комнату — должно быть, сквозь прорванную бумагу окна; влетели и стали биться о стекло лампы. Один устремился вниз и налетел на огонь. Другие, утомленные, опустились на бумажный абажур. Я вчера только переменил его. Он сделан из белоснежной бумаги, сложен веером, и с одной

стороны на нем нарисована ветка кроваво-красной гардении.

Когда расцветет кроваво-красная гардения, тогда и финиковые пальмы будут охвачены снами розового цветка и, словно лук, изогнутся под бременем зеленой листвы... Я снова слышу смех в полуночной тьме, он обрывает нить моих мыслей, я смотрю на маленькие зеленые создания, сидящие на белой бумаге. У них большие головы и маленькие туловища, они не больше половины пшеничного зерна, и тельца у них прелестного изумрудно-серого цвета с голубым отливом.

Я зеваю, закуриваю папиросу, выпускаю дым, и в почтительном молчании созерцаю этих блестящих, изумрудно-голубых героев.





БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

В Пекине зима, на земле еще плотным слоем лежит снег, черные ветви голых деревьев вырисовываются на чистом небе, и я с удивлением и печалью гляжу на бумажных змеев, плывущих вдали.

У меня на родине время бумажных змеев — весенний месяц февраль. Услышишь шуршанье ветряного колеса, поднимешь голову и видишь, как летит темносерый краб или стоножка нежноголубого цвета. А то еще бывает скучный змей-черепица. На нем нет ветряных колес, его пускают очень низко, и он кажется жалким и отверженным в своем одиночестве. В это время уже распускаются почки на иве, и на равнинах горный персик раскрывает цветы, и вместе с небом, украшенным детьми, приносят они ласку весеннего дня. Где же я теперь? Вокруг меня жестокий холод суровой зимы, и в этом воздухе проносится безвозвратно ушедшая весна моей родины, с которой я давным-давно расстался.

Но я никогда не любил пускать бумажных змеев; больше того, я ненавидел это занятие: я считал его забавой дурно воспитанных детей. Не таким был мой младший брат. Ему было десять лет, и бумажные змеи были страстью этого часто болевшего, щуплого мальчика. У него не было денег на покупку их, да я и не позволял ему пускать их, и он иногда часами простаивал, в восторге раскрыв рот и самозабвенно следя за небом. Вот неожиданно опустился паривший в высоте краб, и брат в испуге

вскрикивает; соединенные между собою черепицы распались в воздухе, и он радостно прыгает. Мне это казалось тогда смешным и нелепым.

Как-то я заметил, что вот уже несколько дней он где-то прячется, в последний раз я видел его в саду, где он подбирал сухие ветки бамбука. Мне словно подсказало что-то, и я побежал в маленькую, заваленную старыми вещами комнатку, в которой почти никто не бывал, толкнул дверь и, конечно, среди пыльной рухляди увидел брата. Он сидел на табурете перед большой скамьей и, когда я вошел, испуганно вскочил, побледнел и весь как-то сжался. К скамье был прислонен бамбуковый остов бабочки. Бумага еще не была наклеена, на столе лежали два ветряных колеса, которые должны были изображать глаза. Он украшал их полосками красной бумаги, и они были почти готовы. Упоенный раскрытием тайны и возмущенный тем, что он, скрываясь от меня, украдкой отдавался этой забаве дурно воспитанных детей, я протянул руку, схватил крыло бабочки и сломал его, сбросил на пол и растоптал ветряные колеса. Я был старше и сильнее его, и он не мог помешать мне. Я, конечно, одержал полную победу и гордо удалился, оставив его стоящим в отчаянии посреди комнаты. Меня вовсе не интересовало, что станет он делать дальше.

Но час возмездия наступил. Это произошло через много лет после того, как мы расстались, я был уже немолодым человеком. На мое несчастье, мне в руки попала иностранная книга о детях, в которой говорилось, что игры свойственны детскому возрасту, и дети не могут не забавляться. И тогда перед моими глазами вдруг встала эта тяжелая картина из времен моего детства, о которой я не вспоминал больше двадцати лет, и мне показалось, что сердце мое превратилось в кусочек свинца и, тяжелое-тяжелое, упало вниз.

Я знал, как загладить свою вину: подарить брату змея, позволить ему пускать его, просить его об этом, пускать его вместе с ним. Мы бы кричали, бегали, смеялись... Но он был такой же взрослый, как я, и у него давно уже выросли усы.

Я знал еще один способ, как загладить свою вину: попросить у него прощения, дождаться, пока он скажет:

«Я ни капельки не сержусь на тебя». И тогда на сердце у меня будет спокойно.

Когда мы, наконец, встретились, лица наши были уже изборождены узорами, оставленными на них горечью жизни, а на сердце моем лежала тяжесть. Мы заговорили о далеких годах нашего детства, и я вспомнил об этом случае, о том, как я был тогда глуп. И я ждал: «Но я ни капельки не сержусь на тебя», — скажет он, — я получу прощение, и с сердца моего спадет тяжесть.

— Да разве было такое? — спросил он со смехом, как спрашивают, когда слушают интересную, но чужую историю. Он ничего не помнил.

Он забыл все, и он не сердился; так в чем же просить прощения? Ведь он солгал бы, если бы дал его.

На что мог я надеяться? На сердце моем попрежнему тяжесть.

И теперь снова весна моей родины в воздухе этой чужой стороны принесла мне воспоминания безвозвратно ушедшего детства и наполнила меня печалью. Мне бы от нее укрыться там, где стоит морозная зима, но и так суровая зима вокруг меня, и от нее веет холодным дыханием стужи.





ВОЗРАЖЕНИЕ СОБАКИ

Мне снится, будто я прохожу узким переулком. Я в лохмотьях, на мне разбитые башмаки, и весь я похож на нищего.

Сзади на меня лает собака.

Я с достоинством поворачиваю голову, свысока смотрю на нее и кричу в гневе:

— Ну! Заткни свою пасть! Ты, пресмыкающаяся перед богатым и нападающая на бедняка собака!

— Хи-хи! — смеется она в ответ. — Где уж мне? Мне и самой стыдно, что я непохожа на людей!

— Что?! — Я вскипаю. Я вижу в этом оскорбление, которому нет равных.

— Да, мне стыдно: до сих пор я все еще не понимаю разницы между медью и серебром, разницы между холстом и шелком, разницы между сановником и простолюдином, разницы между господином и рабом, разницы...

Я бегу от нее.

— Куда ты? Поговорим еще...

Я слышу громкий крик, которым она пытается удержать меня.

Я бегу, бегу изо всех сил, до тех пор, пока не выбегаю из сна и не вижу себя лежащим на своей постели.





СУЖДЕНИЕ

Мне снится, будто я сижу в классе и пишу сочинение. Я обращаюсь к учителю и спрашиваю его, какого суждения о предмете следует мне придерживаться.

— Тяжелая задача! — говорит учитель и бросает на меня взгляд поверх очков. — Я расскажу тебе одну историю. В одной семье родился мальчик, и радость всех была неописуема. Когда ребенку исполнился месяц, его, как это разрешено обычаем, вынесли к гостям; естественно, что родители ждали хорошего предсказания для сына.

«Придет время, и этот мальчик будет богат», — сказал один, и он получил благодарность.

«Придет время, и этот мальчик станет чиновником», — сказал другой — и в ответ услышал слова глубокой признательности.

«Придет время, и этот мальчик умрет», — сказал третий — и был больно избит всеми, кто там был.

Говоривший о смерти сказал о неизбежном, говорившие же о богатстве и знатности возможно солгали. Но тот, кто солгал, получил благодарность, тот же, кто говорил о неизбежном, подвергся побоям. А ты...

— А я не хочу лгать людям и не хочу, чтобы меня били. Что же должен я говорить, учитель?

— Тогда тебе следует говорить так: «Ах, этот ребенок! Нет, вы только взгляните! Ну до чего же... А-ах!.. Ах-ах-ах-ах-ах...»





ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 23. В Китае во времена маньчжурской династии Цин существовала система государственных экзаменов для тех, кто хотел получить место чиновника; сдавшие экзамены получали ученую степень.

Стр. 39. Речь идет о легендарном коне Фэй-хуане, который мчится по необъятному пространству. Этот мифический конь воспет поэтом Хуай Нань-цзы (II век до н. э.). «Мечтать о резвом галопе Фэй-хуана» — мечтать о высоком общественном положении, о высшей должности.

Стр. 40. «История Троецарствия» — знаменитое историческое повествование Ло Гуан-чжуна, написанное в XIII веке, посвященное эпохе «Троецарствия» (220—264 гг.), когда происходили удельные войны княжеств Вей, Шу и У. Генералы-тигры Хуан Чжун и Ма Чао — герои «Истории Троецарствия».

Стр. 41. В Китае при маньчжурской династии (1644—1911 гг.) мужчины в знак покорности обязаны были ходить с косой; неподчинявшиеся требованию чужеземной власти подвергались жестоким преследованиям.

Стр. 41. Длинноволосые — участники тайпинского восстания (1850—1864 гг.). Они носили волосы до плеч, не заплетая в косы.

Стр. 49. Таблица предков — алтарь, в котором помещаются портреты или доска с иероглифами — именами умерших предков.

Стр. 57. По конфуцианскому моральному кодексу, деятельность человека может быть отнесена к одной из трех категорий: «ли-дэ» — те, кто стремится к добродетели, «ли-янь» — те, кто оставляет поучение в слове, «ли-гун» — те, кто совершает подвиги.

Стр. 58. Эти слова принадлежат реакционному литератору Линь Шу, ярому противнику новой литературы.

Стр. 58. Три религиозные школы — конфуцианство, даосизм и буддизм; девять философских течений — литература и науки древности.

Стр. 58. Сюцай — первая ученая степень выдержавшего экзамен в уездном городе; цзюйжэнь — вторая ученая степень выдержавшего экзамен в главном городе провинции; цзиньши — третья ученая степень выдержавшего экзамен при императорском дворе.

Стр. 60. В односложном китайском языке на одно и то же слово, произносимое одинаково, но имеющее различные значения, существует несколько иероглифов. В китайской письменности каждый иероглиф соответствует определенному понятию, сочетание этого иероглифа с другим дает новое понятие и т. д. Поэтому в китайском языке возможна богатая игра слов, основанная на различном начертании иероглифов в применении к одинаково произносимым словам.

Стр. 60. «Новая молодежь» — китайский журнал, издавался в 1915—1926 гг. В первые годы своего издания он объединял радикальные элементы китайской интеллигенции, выступавшие за обновление Китая. В этом журнале печатались первые произведения новой литературы, написанной на разговорном языке (байхуа), в частности — первые рассказы Лу Синя.

Стр. 61. Профессор Ху Ши — реакционный ученый, историк китайской литературы. Был гоминдановским послом в США, где и находится в настоящее время.

Стр. 62. В каждой китайской деревне есть кумирни и храмы местного бога-покровителя; обычно в этих храмах находится изображение почитаемого крестьянами бога Земли (туди) или бога Земледелия (тугу).

Стр. 63. В китайской семье оскорбление старшего младшим, особенно родителей детьми, является позором для детей и возвеличивает оскорбленных родителей. А-Кью внушает себе, что он — почтенный отец недостойного сына.

Стр. 64. Чжуанюань — первый среди сдавших экзамены на ученую степень при императорском дворе.

Стр. 65. Старая китайская поговорка, основанная на рассказе о том, как у одного старика, проживавшего вблизи границ Китая, пропала лошадь. Когда соседи стали выражать ему свое сочувствие, он ответил: «Как знать, может быть, это к счастью». Действительно, вскоре лошадь прибежала обратно и привела с собой другую лошадь. Но, когда соседи поздравили старика с удачей, он ответил: «Как знать, может быть, это к несчастью». Вскоре сын старика, объезжая

новую лошадь, упал и сломал себе ногу. Соседи опять выразили свое сочувствие старику, но старик ответил: «Как знать, может быть, это к счастью». Через год враги напали на Китай и почти все юноши погибли, а сын старика уцелел благодаря своей сломанной ноге.

Стр. 69. Похоронный посох — на похоронах родителей сыновья идут за гробом, опираясь на специальную палку, так как предполагается, что от скорби они физически слабеют.

Стр. 71. В знак уважения к предкам, китайцы ставят в храме предков по праздникам чашу с рисом; особенно торжественно эта церемония совершается после сбора урожая. Этот обычай считается важным знаком сыновнего почтения к родителям.

Стр. 71. В книге Конфуция «Афоризмы» дух Жо Ао говорит: «Если мой сын будет казнен, души предков будут голодать», то есть некому будет ставить чашу с рисом в храме предков.

Стр. 71. Да Цзи — наложница Чжоу, последнего из правителей второй китайской династии Шан (XII в. до н. э.). В династийной истории говорится, что император Чжоу, плененный красотой Да Цзи, забросил все государственные дела и привел династию к гибели. Бао Сы, знаменитой фаворитке императора Ю-вана, одного из правителей третьей китайской династии Чжоу (VII в. н. э.), приписывается та же роль, что и Да Цзи. Дун Чжо — генерал династии Хань (конец II в. н. э.), захватил императорскую власть в свои руки и управлял государством единолично, подчинив себе мальчика-императора. Как говорит официальная китайская история, жестокость Дун Чжо привела к тому, что его воспитанник — один из его ближайших офицеров, Люй Бу, убил тирана. В заговоре Люй Бу против Дун Чжо принимала участие красавица Дао Чань — наложница Дун Чжо.

Стр. 85. 14 день 9-го месяца третьего года Сюань Тун — соответствует 14 сентября 1911 года — 3-му году правления последнего императора маньчжурской династии в Китае.

Стр. 85. С древних времен в Китае ночное время делят по сменам стражи самоохраны. Первая стража заступает в семь часов вечера. Смена стражи каждые два часа отмечается ударом в гонг.

Стр. 86. Цзун Чжэн — имя последнего императора китайской династии Мин, свергнутой в 1644 году маньчжурами. В представлении А-Кью, революционеры стремятся восстановить китайскую династию и потому, в память китайского императора Цзун Чжэна, они должны быть в траурных белых шлемах и белых панцырях.

Стр. 92. Письма в форме «желтого зонтика» писались вышестоящим лицам. Все обращения к адресату выделялись в отдельную строку. Иероглифы, которые пишутся сверху вниз, в таком письме напоминают форму раскрытого зонтика.

Стр. 92. «Партия кунжутного масла» — здесь игра слов, основанная на неправильном произношении свистящих звуков. Во многих диалектах Китая вместо свистящих произносят шипящие звуки и наоборот. Слова «цзы-ю дан» — «партия свободы» — вэйчжуанцы произносят «ши-ю дан», что означает «партия кунжутного масла».

Стр. 92. Ханьлинь — звание ученого при императорском дворе. Соответствует званию академика.

Стр. 95. Фу Си — легендарный китайский император, годы правления которого в истории Китая считаются золотым веком.

Стр. 99. Кусок белой материи надевается на приговоренных к смерти перед казнью. В Китае белый цвет — траур; черными иероглифами пишут фамилию преступника и за что он приговорен к смерти.

Стр. 100. В Китае приговоренные к казни обычно доказывали свою твердость пением героических песен из популярных театральных пьес.

Стр. 113. В данном рассказе под «китайским театром» (чжунго си) Лу Синь подразумевает городской коммерческий театр, хозяева которого в погоне за наживой рекламировали китайскую героическую оперу монгольского периода (1280—1368 гг.). В этих спектаклях сохранялись условные приемы древнего театра, отжившие каноны пения, архаический язык; женские роли исполняли мужчины. Музыка оперы была перегружена грохотом барабанов, гонгов и других ударных инструментов и по самому своему существу далеко ушла от народного театра.

Стр. 115. В старом китайском театре существует пять основных амплуа: «шэн» — герой, «дань» — героиня, «цзинь» — злодей, «чоу» — шут, «мо» — второстепенные действующие лица. Эти амплуа делятся на роли, о которых говорится в рассказе: «лаодань» — благородная старуха, «сяодань» — молодая героиня, «лаошэн» — благородный старик, и т. д. В старом китайском театре женские роли исполняются мужчинами.

Стр. 115. Шэньши (ранее было принято переводить английским словом «джентри») — своеобразное сословие, сложившееся в феодальном Китае; дословно «мужи, носящие чиновный пояс», «именитые люди» — та часть деревенских богатеев, которая, владея землями, нередко обладая «учеными» званиями, полученными на особых государственных экзаменах, и занимая чиновничьи должности, составляла правящую верхушку старой китайской деревни.

Стр. 131. Кан Ю-вэй (1858—1927 гг.) — политический деятель, сторонник конституционной монархии. В начале нашего столетия выступал за реформы.

Стр. 131. Иероглиф «шоу» — «долголетие» — обычно пишется на всех подарках ко дню рождения. Чэнь-туань — знаменитый каллиграф XI века.

Стр. 132. «Четверокнижие» — четыре книги конфуцианского канона: «Суждение и беседы» («Лунь юй»), «Великое учение» («Да сюэ»), «Учение о центре истины» («Чжун юн») и «Изречения философа Мэн-цзы» («Мэн-цзы»).

Стр. 140. В феодальном Китае считалось позором, если женщина после смерти мужа выходила второй раз замуж. Родители могли насильно́ заставить овдовевшую дочь еще раз выйти замуж. В рассказе приводится необычный случай, когда свекровь принуждает невестку-вдову вступить во второй брак.

Стр. 159. «Нюйэр-цзин» — популярная книга наставлений о дочернем почтении и образцовом поведении женщин.



СОДЕРЖАНИЕ

Лу Синь. *Н. Федоренко* 3

ИЗБРАННОЕ

ИЗ СБОРНИКА «КЛИЧ»

Кун И-цзи. *Перев. Н. Федоренко* 21
Завтра. *Перев. Вл. Васьков* 27
Маленькое происшествие. *Перев. Л. Эйдлин* 34
Волнение. *Перев. Вл. Рогов* 37
Родное село. *Перев. Л. Позднеева* 47
Подлинная история А-Кью. *Перев. Вл. Рогов* 57
Блеск. *Перев. Вл. Васьков* 102
Кролики и кошка. *Перев. Вл. Рогов* 108
Деревенское представление. *Перев. Вл. Рогов* 113
Утиная комедия. *Перев. Вл. Рогов* 126

ИЗ СБОРНИКА «БЛУЖДАНИЯ»

Моление о счастье. *Перев. Ал. Рогачев* 130
В кабачке. *Перев. С. Тихвинский* 150
Счастливая семья. *Перев. Вл. Рогов* 160
Мыло. *Перев. Вс. Колоколов* 168
Развод. *Перев. Ал. Рогачев* 179

ИЗ СБОРНИКА «ДИКИЕ ТРАВЫ»

Осенняя ночь. *Перев. Л. Эйдлин* 190
Бумажный змей. *Перев. Л. Эйдлин* 193
Возражение собаки. *Перев. Л. Эйдлин* 196
Суждение. *Перев. Л. Эйдлин* 197

Примечания 198

Художник *Н. Шишловский*

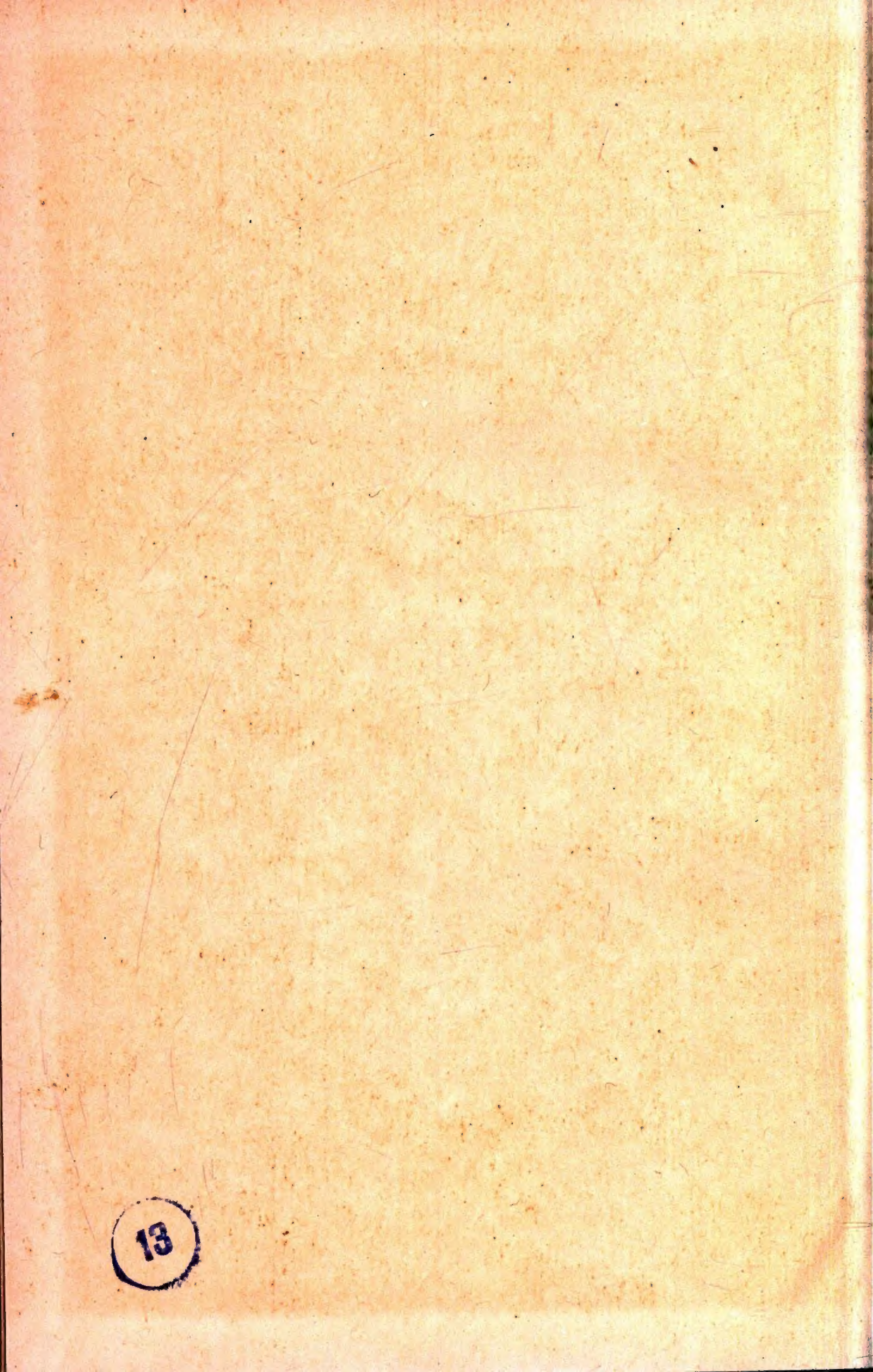
Редактор *Р. Померанцева*
Худож. редактор *А. Ермаков*
Технич. редактор *В. Гриненко*
Корректор *А. Типольт*

*

Подписано к печати 20/IX-52 г. А-06828.
Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — 3,19 бум. л.,
10,46 печ. л., уч.-изд. 10,15+1 вкл.=10,2 л.
Тираж 90 000. Зак. № 270.
Цена 4 р. 65 к.

*

2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР.
Ленинград. Гатчинская, 26.


13